

АЛАН ЧЕРЧЕСОВ

КЛАД

Первое и главное, Алан Черчесов – виртуоз. Он пишет так лихо, так игриво, так свободно и так легко, как мало кто (никто!) сегодня на русском языке. Он наслаждается то бурным, то легкоструйным, то нежным, то вовсе беззвучным, то грохочущим течением слов и своей над ними бесконечной властью до того откровенно и заразительно, что не увлечься просто немислимо.

МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ



Большой роман. Современное чтение

Алан Черчесов

Клад

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Черчесов А. Г.

Клад / А. Г. Черчесов — «Эксмо», 2020 — (Большой роман.
Современное чтение)

ISBN 978-5-04-116239-9

В сборнике прозы Алана Черчесова представлены тексты разных лет – от дебютного рассказа начинающего писателя до свежих проб пера маститого автора, чей творческий почерк непредсказуемо и постоянно меняется, но, странное дело, остается при этом легко узнаваемым, ярким, уверенным, неповторимым. Виртуозно владея оттенками стилей и жанровым многообразием, Черчесов свободно перемещается в литературно-географических координатах пространства и времени, приглашая нас отправляться вслед за сюжетом то в суровые горы Кавказа, то в столицу России, то в деревушку на юге Болгарии, то в Монте-Карло, то в Мексику. В его повестях и рассказах XIX век органично соседствует с нынешним, вечность – с минутой, притча – с легендой, драма – с романтикой, юмор – с трагедией, а любовь и надежда – с печалью. Проза на всякий читательский вкус – при обязательном условии, что вкус этот точно имеется.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-116239-9

© Черчесов А. Г., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

I		6
	Невозможный рассказ	6
II		42
	Остров воздуха	42
	Скорость света – еще не предел	52
	Чудо любви и обмана	58
	Конец ознакомительного фрагмента.	64

Алан Георгиевич Черчесов

Клад

© Черчесов А., текст, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

I

Как лучше не выжить в домашних условиях

Невозможный рассказ

Между собой называли цветок Невозможкой. В ботанических справочниках он фигурировал как *Impossibile mundi*¹. В отличие от других мухоловок, растение не только питалось предписанной виду диетой, но и плодило из сожранных мух... красоту. Переважив за ракушками розовых, плотных, похожих на ухо свиньи лепестков скормленных ей цокотух-копрофагов, спустя пару недель Невозможка враспах отворялась узорами глянцевых бабочек, запечатленных на внутренних веках ее неприглядных иначе, конфузливых ставенок. Прежде чем приоткрыться, лепестки ненадолго румянились, словно умильно краснели в щеках, виноватились: вишь ты, опять в нас чудня наготовилась!..

Ранней весной керамический круглый горшок помещали в поддон с дождевой или талой водой. Ближе к июню по внешней оправе окна раскатывали стеклотканевую вуаль, защищая от солнца цветок сетчатым притенением. С ноября уменьшали полив и зажигали коптиться белесый торшер. Зимой следили, чтобы градусник в комнате не опускался ниже пятнадцати цельсиев. По истечении антезиса² (май и все лето, сентябрь и треть октября) удаляли пинцетом больные розетки, разглаживали утюжком отлипшие лепестки и подшивали сушиться в гербарный альбом с указанием даты и года, уже захромавшего в хмурь календарной гибели. Потом похвалялись знакомым коллекцией бабочек, ни одна из которых не ведала в жизни ни истинных крыльев, ни райской тревоги полета.

За ненасытность в питье Невозможку журили пропойцей. Напрямую, однако, ее орошать возбранялось – взамен надлежало опрыскивать кучно окольные воздушы: капли хлорной московской воды оставляли на листьях зловещие ржавые пятна, точно ожоги на коже от брызг кислоты. Та же чума настигала растение при попадании ярких лучей. А еще полагалось его ограждать от любых сквозняков и визгливого шума: в придачу к капризам здоровья, мухоловку среди прочих собратьев выделял щепетильный к скандалам, разборчивый слух. Из-за истошного воя сирен, буравящих зыбкий, поверженный город, побеги ее вывертывались столбнячными закорючками, клешни костенели, а ворсистые сяжки начинали ничтожно подрагивать. В такие минуты хозяевам, взятым врасплох безотчетным стыдом, мнилось, что их привереда цветок одержим сокровенным испугом – перед тем, что вершилось вовне, за герметичными окнами. Объяснять ли припадки приема его первобытно-тропическим происхождением или, напротив, заморской вельможной чувствительностью, так и осталось загадкой. В инструкции по уходу за «мундиком» о ветвях родословной умалчивалось и сообщалось лишь о технических сторонах кропотливого попечительства: обеспечить хороший дренаж, в смесь для посадки докладывать торф с измельченной корой, слегка приправлять листовой землей с жженой дранкой древесного угля и на всякий пожарный подстраховаться аккумуляторным увлажнителем, включавшимся автоматически при сбоях в электросети.

¹ Невозможный мир (*лат.*).

² Зд.: срок цветения (*лат.*).

* * *

Если б не мухи в тот март, распаленный авральной горячкой и, вместо хлопкого ранца протравленных сырью недель, приволокший на потном хребте косохлесты апреля, никакой Невозможки в их аскетичной квартирке не поселилось бы вовсе. К любым несъедобным образчикам флоры оба супруга были всегда равнодушны, а потому намекни кто, что им предстоит ковыряться в крупитчатой почве, шмыгать помповым пульверизатором и млеть по-ребячески, щупая слойчатый бархат мясистого венчика, они бы пожали плечами: вздор, дескать, пошлость и глупости.

Удочерение экзотично-стеснительной хищницы предрешилось порывом спонтанным, наколованным ливнем и случаем.

Прячась от хлынувшего дождя и в огиб петляя по рантам булькочущих луж, они (невесть отчего будто снова юнцы, невпопад суматошные шалой, куражистой радостью) юркнули под козырек на Кузнецком Мосту и, подстрекаемы взбалмошным роком, впорхнули в сырой каземат ароматов и пестрых когорт из ведерок, кашпо, рахитичных кустов и торчкастых букетов. В носшибануло кладбищенски-свадебным запахом, и тотчас же вольный, мятежливый хохот, подрубленный щелкнувшей дверью, сорвался с резьбы, заскрипел тормозами, глумливо икнул и закашлялся. Споткнувшись растерянным взглядом об алое скопище роз, снежки хризантем и разъятые жалами зева азалий, муж попятился, что-то задел, уронил и поехал ногой по разбухшей картонке, криволапо простроченной пьяненькой тропкой из заплетенных в косицы следов. Жена удержала за локоть, пригнулась к горшку и поправила бирку. Дабы загладить сумбурность вторжения, изобразила живой интерес, прикусила в раздумье губу и нацелила палец в ярлык:

– Извините нам наше невежество, этот странный цветок ловит мух?

Продавец – хоботастый корсар с нахохленной бровью над тусклым сомнамбульным глазом – оказался шербат и зануден. Кивнув одобрительно, он пожевал со значением прелый, напоенный терпкими зельями воздух, исторгнул его с трубным свистом, а как снова обвис парусиной брылей, загнусавил протяжный акафист многоголовому карлику, кротко павшему ниц сыпкой гроздью двудланных бутонов, похожих на створки поддельных игольчатых устриц. Затем спохватился, вздыбил под пухлые ноздри ладонь и, подобно закрылку авиалайнера, умело ею повертывал, заслоняя клиентов от залпов беззубой своей, назидательной дикции. На проперченном ложбинками оспин запястье синела наколка: «Салага, драй палубу!», а на втором кулаке, придремавшем кутенком в защите железной груди, скучающий муж кое-как, по обкорнанным полуслогам, из-под тире и извивов тельняшных полос расшифровал и вторую команду: «Капитан, задрай люк!»

Третий «драй» заорал из подсобки.

– Жако, – пояснил продавец.

– Дррааай! – отозвался гугнивый жако.

– Бонифаций, мой попугай. Думал, беру африканца, а всучили фашистскую попку. Видно, какой-то немчара натаскал в малолетстве считать. Набрехали на рынке, что шпрехаёт до двадцати, да только его как заело: дальше трех обормот не прокаркался.

– Нас-то он сосчитал – не ошибся, – тактично заметил супруг.

– Дрррай! – подтвердила кичливая птица.

Женщину вновь передернуло.

– Чтоб тебя!.. – рявкнул назад продавец, извлек из тельняшки кулак, колыхнулся медузными персями и погрозил апатично в таинственный сумрак. – Угадал, аферист. Должно быть, сегодня замкнуло на «драй». Ту неделю, к примеру, все цвайкал на публику, как заведенный. Лопать горазд, а ума – как у зяблика.

– Дрраай! – возмутился задетый жако.

– Да вы не шарахайтесь так, я его, дармоеда, днем в клетке держу, не то обкромсал бы в лохмотья всю лавку... Коль приглянулось растеньице, не церемоньтесь, потрогайте. Глаз, как и нюх, обморочить легко, а вот осязание – дудки... Точно дельфинка, ласкается, чувствует? Эпидерма редчайшая. По мне, шелковистая замша. Товар высший сорт – от бакборта до штирборта! Экземпляр «три в одном»: и цветок, и охотник на мух, и художник. Погодите-ка, я вам сейчас покажу.

Водрузивши на хобот очки, пират послунывил короткие пальцы и зашуршал в каталоге. С минуту сопел и сердито трепал середину, а когда отыскал наконец, взбороздил стальным ногтем латинскую подпись под сочным, раскидистым снимком и, внушительно крикнув, крутнул к покупателям:

– А? Хороша вышиванка? Рукоделие природы-кудесницы. Хоть под лупой смакуй. Кружева, что гипюр. Зацените и тонкую выточку: будто ткань позументное. Виртуозный орнамент! Ажур. Или как бишь его? Аккурат на поддевку к фестонам водилось словцо повихрастей...

Он опять запыхтел, сколупнул с беспокойного носа очки, поморгал в потолок, не нашел, постарел и расстроился.

– Финтифлюшки такие, – прошамкал. – Но как бы не наши, а вроде восточного танца, с пупком.

– Арабеска?

– В десятку! Арабка с бесенком. Щекочат язык, а в пучок повязать упираются... Так мне чек пробивать?

Муж поднял глаза от журнала и перевел на супругу.

– Блеск! – восхитилась она. – Если фото кому переслать – натуральные бабочки.

– О том и толкую. Мастерство у мальчика филигранное. Будет верой и правдой служить, да еще рисовать между делом абстракции. Не потратив гроша, соберете свою галерею.

Картины супруга любила.

– Как потрескает комнатных мух, подсоблю. У меня в зоомаге на Полежаевской кореш. Аппетитец обжорный, имейте в виду! Намедни скормил шельмецу таракана. Думал, помуслит чуток, да и выплюнет. Черта лысого! Схрумкал, как семечку, и не поморщился. Так что ежели к вам на уют поналезут усаые твари...

Цветочник осекся, поник, затуманился меркло очками, флегматично пошарил под задом и плюхнулся на табурет.

В тот же миг над бугристой макушкой державным клеймом оголился безусый портрет-оберег, застращал со стены типографской зализанной плешью.

– Едрит твою мать! – не сдержалась жена. – И отсюда проклюнулся.

– Дррай! – пробудился опальный жако, но затем стушевался и петушком закудахтал из дебрей своей преисподней.

Покупатели порскнули.

Лавочник выдавил с грустью:

– Хулиганьте, пока хулиганится. Я свое отпроказничал. Спасибо еще, что не вымер, как мамонт, от духоты, а чинно-кручинно отделался астмой. – Он достал из штанов ингалятор, пшикнул в могильную пасть и, выпихнув пробку из легких, задушенно просипел: – Настудило меня на арктических льдах, приэкваторным солнцем до почек прожарило, четверть века швыряло на качках с востоков на запады, однако ж такого раздрая, как здесь, и в аду штормовом не встречал.

– А вы оптимист, – пошутила жена.

– Оскорбляете, дамочка! Глубже лотом макайте, под киль футов эдак на тридцать: циник я, мракодумец. Не зря с мариманства кликуху стяжал – Похоронщик. Чуть кто ноту фальцетом

взвинтит, я ее уж гноблю да крамзаю. Слабовато нутро у меня на экстазы и пенные заплески. Плохо пафосы терпит, изжогой на них огрызается. Все эти *святые отчизны, ни пяди земли, назло всем ветрам, живот на алтарь положу*... А сами калечному в шапку рублишки не бросят истерханной! У нас чем вzasосней целуют, тем беспардонней хамят, чем азартнее в дружбе клянутся, тем прытче сдают с потрохами... Хотите открою свое погребальное кредо? Лучше быть мизантропом, потопшим в цветах, чем тонуть гуманистом в дерьме человечьем. Где-где, а в родных берегах этой замеси вдосталь. Она-то и есть главный наш неоскудный ресурс, первоисточник национальной энергии. Торгуйте на экспорт три тысячи лет – дефицита не будет... Все бы ладно, но есть в нас чреватей особинка: разрушители мы. Естеством и преемством своим – портачи, бракоделы, идей извратители. Коли в мире чего и поклеится, а потом по наивности, из благодати иноземной, к нам на хлеб-соль поплывет, хренопупия ихняя так о российский причал чекалдыкнется, что разлетится в щепу. Посему в наших весях при наших гонористых спесях от прусаков или бункерных слизней, – он мотнул головой на портрет, – спасу не было, нет и не будет. Вон и время в кой раз перекусное... Тараканья страна! Хоть «полундра» кричи.

Клиенты синхронно поежились.

Прежде чем тенькнет безвыходно дверь и кто-то – матерый, пружинистый – двинется быстрым добычливым шагом к их спинам, муж постучал костяшками пальцев по деревянной столешнице и, вынув бумажник, по-свойски прищурился:

– Зато дефицита мух ожидать не приходится.

И осторожно подумал: особенно трупных...

* * *

Оговорив с толстяком возврат импосибля в течение месяца (без возмещения уплаченной суммы), супруги рискнули попробовать.

Вот что запомнилось: едва выбрались вон, как дождь сам собой прекратился, и патлатое небо, смахнувши с зеницы бельмо, засверлило сквозь тучи подмигчивым радужным солнцем. На воспрянувшей улице слезно зеркалились блики витрин, полоскались тряпицами мокрые флаги, а у перекрестка с Петровкой, стабунившись под светофором, пререкались клаксонами автомобили, сплошь в горошинах капель на маслянистой броне.

Где-то в изытой, обманчивой выси, в бравурных, надмирных мечтах замерещились звонкие птицы. Перепрыгивать лужи вдруг стало легко, беззаботно, почти что отчаянно.

– Радуга – это к добру, – повторяла жена, прижимая к жакету укутанный в пленку горшок.

– Я ее лет уж сто здесь не видел, – откликнулся муж и скропал про себя уравнение: «Сто не сто, а уж двадцать – как пить дать».

– Благодарный презент Невозможки? – хихикнула женщина. – Вот и имя ей найдено.

* * *

Продавец не солгал: шефство над нежно-коварным цветком обременяло их мало, скорей утешало, забавило. Опека чужеземца в четыре руки было вовсе не хлопотно: соблюдай календарь и часы да сверяй их по градуснику.

Несмотря на привязанность к мундику, у четы не возникло и мысли расширять ботанические угодья: в мухоловке они обрели нечто вроде питомца – не просто растение. Заодно разрешился и спор: кошка или собака. Вышло ни то ни другое, а – лучше.

* * *

К Новому году у них накопилось с полсотни шедевров. Гости учтиво листали альбом, впечатлялись восторженно, исподволь ерзали и деликатно глотали зевки.

Это хозяев корбило.

Спровадив захмелевших визитеров, супруги сдирали с резиновых губ зачерствелые корки улыбок, зычно стонали и принимались мыть косточки:

– Лицемеры! Будь у нас дети, они бы и с ними вели себя так же, – хорохорился муж и досадливо бряцал тарелками в раковине.

– Эстетический вкус в наши дни – раритет, – удручалась жена, соскабливая со скатерти клещи присосавшихся крошек и оттирая тряпкой впившиеся в кляксы голоса.

Перед сном проверяли замки на двери, затыкали крючком металлический паз и желали цветку сладких грез:

– Доброй ночи, дружок.

– Фееричных тебе озарений!

* * *

Часто вслух размышляли о том, что искусство воистину требует жертв.

– Для всякой картины ей нужно убийство. Тебя не смущает?

– С другой стороны, убивается ею лишь зло. Разве нет? Что хорошего в мухах?

– «Когда б вы знали, из какого сора растут поэзии цветы...»

– Я бы переименовал: «Когда б вы знали, из какого зла растет в цветах поэзия...»

– Прикольно. И очень похоже на правду. Будем считать, что мундик у нас – Караваджо. Так у цветка появился творческий псевдоним.

* * *

В будни супруг подвизался на службе. Должность сотрудника Росгосархива обломилась ему по знакомству с пасынком помзамминистра.

Казенное место особых талантов не требовало, но наличие диплома по русской истории, склонность ума к педантизму, умение молчать с девяти до шести, а также не слишком болтать до и после в конторе приветствовались.

Что до жены, та обычно корпела в квартире за древним, угрюмым бюро, доставшимся ей от знаменитого деда-профессора, а по средам и пятницам отлучалась на три бесполезных часа в свою альма-матер, где ей, бывшей круглой отличнице и внучатой племяннице прежнего ректора, скрепя сердце доверили факультатив по худпереводу для четырех вечно сонных, судьбой разобиженных дев.

В институте зарплата была курам на смех, зато недозанятость в вузе сэкономила силы на выполнение заказов от юридических фирм, турагентств и издательств. Свободно владея английским, французским, почти что – немецким и ухитряясь еще мимоходом толмачить статейки с испанского, у адвокатов, дельцов и редакторов полилингвистка была нарасхват.

Время от времени ей попадались проекты весьма интересные.

– Сложнейшая вещь! И язык изумительный. Тот случай, когда изначально понятно, что перевести адекватно нельзя, но не переводить совсем нельзя еще больше.

– Поздравляю, – подтрунивал муж. – Теперь у тебя есть игрушка на несколько месяцев.

– Все достойней, чем пыль по архивам глотать, – заводилась она, – и топтаться годами в курилке с такими же трутнями.

– Между прочим, я не топчусь, а пишу диссертацию. Это вам не разыскивать в склепах истлевшие рифмы или бубнить до мозолей во рту окоlesiцу чокнутых гениев. Я занимаюсь наукой.

– Не городи ерунды. Любая наука предполагает конкретность и доказательность базы. У истории с этим беда. Так что в плане аутентичности даже дрянной перевод даст вашим липовым штудиям фору.

– Перевод – не наука, а интерпретация. Причем субъективная.

– А история – нет?

– История – это наука о том, как найти здравый смысл в сумасбродстве эпох.

– Наука способна учить. История – нет.

– Может, дело в плохом переводе ее августейших уроков на ваш рифмоплетский язык?

– А может, в косноязычии тех, кто в ней роется, чтобы найти хоть какой-то приемлемый смысл в бесконечной бессмыслице?

– Кто б говорил! Перевод есть синоним санкционированного косноязычия. Сами же признаетесь, что больше, чем на худую четверку, переложить самобытность оригинала вам, уха-жерам цитат, не в подъем.

– Как и вам – воссоздать достоверно одну лишь минуту из прошлого. Куда там отстроить века! Только вас не оттащишь от этой кормушки и за уши.

– Мы детективы времен.

– Вы костюмеры времен, их гримеры, слепцы и цирюльники. Самовлюбленные сочинители путаной небывальщины.

– Мы опираемся на первоисточники.

– Скорее, вы их попираете. Как ранее ваши «первоисточники» попирали другие источники. Интерпретация – это про вас. Мы и в подметки тут вам не сгодимся.

– Сопоставляя источники, мы обличаем подлоги и реконструируем истину.

– Да у вас каждый новый правитель – лишь повод в угоду ему обчекрыжить историю, пообстричь под монарший росток и, толкаясь локтями, ханжески отретушировать.

– Против подобных эксцессов у нас есть спасение – архив. Без него б не осталось и камня на камне от прошлого.

– Зачем людям камни, когда возвели им дворцы великие Данте, Шекспир и Сервантес?

– Словоблуды, вруны и придумщики!

– А вы лизоблюды, плуты и начетчики!

– Ну а вы для всех них и всех нас – переводчики. Исказители духа и смысла.

– Я тебя ненавижу.

– И я тебя очень люблю.

– Я серьезно.

– И я не шучу.

– Не хочу больше ссориться.

– Ладно.

– Расскажи-ка мне лучше, что там сегодня стряслось.

– Где стряслось? Разве что-то стряслось?

– На работе ведь что-то стряслось?

– Не так чтобы очень. Просто уже с четверга вводят новые правила доступа. Помнишь, я говорил?

– Да наплюй!

– Наплевал.

– Разотри.

- Раза три? Тьфу-тьфу-тьфу.
- Ну и дурак ты!
- Ага. Ничего, что научный сотрудник?
- Научный преступник!
- Как скажешь.
- Не смейся!
- Куда уж смеяться. Впору белугой реветь.
- А ты начихай. И не лезь на рожон. Это они дураки.
- Дураки беспросветные.
- А ты, как последний дурак, защищаешь историю.
- Попробуй от них защити!
- Ничего-то у нас не меняется.
- Может, проскочим еще.
- Может, еще и проскочим.

* * *

Вот что забылось: когда на работе уволили шефа отдела, цветок разродился внезапным холстом и, будто ошпарившись, сразу его обронил (распята дохлая птица с крыльями разной длины и впервые – не бабочка). На остальных лепестках в нужный час, через день или два, распахнулась мажорной раскраской насекомая безукоризненная симметрия.

Ее-то они и подшили в альбом: птица стремительно сгнила.

- Как давно он у вас, этот хмырь?
- Года два.
- Скользкий, ты говоришь?
- Гладкомордый и скользкий. Оттого и прозвали Рептилием.
- Долго же он обвыкался!
- Внедрялся в среду.
- И на что ваш начальник надеялся?

– Старый чурбан облажался. Сел в калошу по самый кадык. Все квохтал, лебезил, бодро пучил глаза и, воздев указательный палец, шипел: «Наш куратор – *оттуда!* Имейте, коллеги, в виду». А едва отстранили, свалился с обширным инфарктом. Хорошо бы не помер. Мужик он, конечно, говенный. С руководством – холуй, с подчиненными – жлоб, но когда вдруг людей убирают вот так, ни с того ни с сего, то будто тебя самого окунают в помой.

– А что же его заместитель?

– Слонялся по всем кабинетам, пачками жрал валидол и навзрыд сокрушался: «Ах, мерзавцы! Мерзавцы!»

Тем и выдал себя. Другому б кому за «мерзавцев» уже бы наутро впаяли статью. Ну а он теперь в дамках – начальник.

– Хочешь сказать, сам науськал Рептилия?... Фу, как противно.

– Противно.

– Ты уж смотри там, не лезь на рожон.

– Не полезу... Мастыркина помнишь?

– Который ваш местный бретер?

– Как воды в рот набрал. То воевал, баламутил, артачился, а тут поджал хвост, причем сдудся в момент. Даже бросил курить, чтоб чего не сболтнуть в перерыве.

– Надо же! Вроде такой правдолюб, бузотер... Это же он в позапрошлом году за банкетным столом порывался повесить Архипова прямо на галстук?

– Кстати, Архипов слинял.

- Опупеть! И куда?
- Говорят, в Тель-Авив, но не факт. Помяни мое слово, еще вынырнет где-нибудь в департаменте. У него же папашка в чинах и погонах.
- Может, Мастыркин поэтому и присмирел?
- Может быть.
- Может, еще и проскочим.
- Жаль, что кирдык диссертации.
- Думаешь?
- Кто ж мне ее разрешит подавать на защиту!
- А ты не гони лошадей. Пережди, никому не показывай. Лучше всего принеси-ка домой.
- Да принес я. На прошлой неделе еще.
- Вот и умница.
- Трус.
- Никакой ты не трус.
- Я ссыкун, как и все.
- Может, нам тоже уехать?
- Куда?
- Хоть куда.
- Хоть куда – это круто. Покажешь на карте свою Хотькуданщину?
- Я владею тремя языками. Даже тремя с половиной.
- А я – половиной без трех. Да и что нам там делать?
- Дышать.
- Ух ты! Прозвучало заманчиво.
- Очень.
- И оставить им все?
- Зато – без себя.
- И страну, и язык, и историю?
- Только страну и, на время, историю.
- Ну а как быть с цветком? Что молчишь?
- Да пошел ты!
- Переохотилось? То-то же!..

* * *

Когда выхода нет, остается единственный выход: свой крохотный мир. Его символом и путеводной звездой для супругов отныне была Невозможка.

- Вот бы и нам так уметь справляться с нахлынувшей нечистью!
- Неужели из этой холеры кто-то способен опять сотворить красоту?
- Вряд ли на нашем веку.
- Мы словно дрейфуем в малюсенькой лодке. Кругом все клокочет, трещит, а под днищем у нас полный штиль. Точно ухнули в море бочонок с мазутом.
- И надраили палубу.
- Капитан, задрай люк!
- Уггыррум. Уггыррум. Уггыррум... Интересно, надолго поможет?
- Не думай об этом. Живи день за днем.
- Я живу.
- Мы живем.
- Кое-как выживаем.
- Нам они не указ.

- Нам никто не указ.
- Только совесть.
- И страх.
- Прекрати!
- Недавно заметил, что люди визгливей смеются, а вот говорить стали тише. И громче молчать.
- Это когда не кричат.
- Представляешь, у нас под архивом начнутся раскопки.
- Чего это вдруг?
- Пробежало шу-шу про какой-то туннель.
- Что-то унюхали, или это кротовый инстинкт их науськал?
- Наверде того. За последнее время кротов наплодилось немало. Не успеют кого-то уволить, кроты тут как тут, обживаются: новенький столик с замочком, сафьянные папочки, пристальный взгляд, анекдоты, часы на сапфире и лощенные рожи. А еще непременно в комплекте – одеколонец с ветивером.
- Хоть пахнут приятно.
- Стараются пахнуть, но сквозь духи источают амбре свежeweымытой пакости. Въелась им в самые поры. Не мужики, а путаны!
- И многих из ваших уволили?
- Только с осени выперли семь человек. Вручили им волчьи билеты, и поминай как звали. Будто все в воду канули.
- Ты что же, искал?
- В общем нет.
- Молодец.
- Да подлец я.
- Нигде не подлец. Был бы ты подлецом, дослужился б до замначотдела.
- Мне это не нужно.
- Нам это не нужно.
- Спасибо тебе.
- И тебе.

* * *

По новой весне в город нагрянули орды назойливых мух. Лица прохожих окрасились в мелкие крапины, затем поголовно укутались в марлю, так что снующие толпы напоминали ораву безликих пришельцев, обложенных высыпью кори.

- Я сделал открытие!
- Валяй.
- Человек человеку не друг. И не всегда даже волк. Человек человеку – инопланетянин.
- Смешно.
- Фундаментально! Потянет на Нобеля.

Перед тем как войти из подъезда в квартиру, приходилось отряхиваться, брызгать в волосы из распылителя и подлезать под москитную сетку, приклепленную к косяку. Помогало не очень. Спасал натерелый в убийствах цветов-Караваджо. Истребив занесенную с улицы гнуса, он выдавал на-гора десятки отборных шедевров.

Те делали мир за окном чужедальным, почти нереальным, надежно отринутым.

– Словно живем в пьесе Сартра, и Невозможка – наш brave Орест, указующий путь из смердящего Аргоса.

- Только путь наш – тупик о четыре стены.

- Не тупик, а вселенная.
- В микроформате.
- Не кукусь. Может, еще и проскочим...

* * *

Вскоре они обнаружили, что экстравагантный питомец перенимает спонтанно оттенки их настроения и реагирует чутко на стрессы, тревоги, хандру, перепалки, сомнения. Стоило мухоловке слышать дверной звонок, как она, встрепенувшись, принималась нервно раскачиваться и иступленно мотать тормозливой грибницей голов, будто бы истерично отнекивалась от непристойного предложения. Длилось это недолго и сопровождалось еще одной любопытной закономерностью: объявись на пороге субъекты, приветить которых в квартире не жаждали, Невозможка сжималась башками в тернистую палицу и, скрючив побеги, имитировала признаки трупного окоченения. Если же навещали супругов люди, обоим приятные (более-менее; чаще все-таки – менее: год за годом нужда в посетителях неуклонно сходилась на нет, покуда совсем не отпала), цветок запирает от гостей скорлупу черепушек и, стиснув жвала, тянулся к торшеру – вроде как отворачивался от тьмы в человеческом облике.

Обзаведясь столь внимательным индикатором, можно было не красться, как раньше, к дверному зрачку (в коридорных потемках, на цыпочках), а, перекинувшись взглядами, определять, кого в дом впускать и кого игнорировать.

- Очень удобно!
- Не хуже камеры наблюдения.

* * *

Чем суровее делалась жизнь за окном (что ни день – перекрытие дорог, оцепление улиц, мигалки, спецрейды, облавы, парады, салюты, концерты и скоморошные гульбища), тем становилось растение ранимей, недужней, затерзанней.

- Сегодня меня не пустили в метро.
- Забыла, что ты в четном списке?
- Число перепутала.
- Пробираюсь назад сквозь казачьи кордоны?
- Через отряды конной полиции.
- Еще повезло!
- Еще как повезло.
- Говорят, к январю ограничат мобильную связь.
- Это давно говорят. С тех самых пор, как впендюрили Руспаутину и похерили нам интернет.
- Гони штраф.
- Чего ради?
- Запрет.
- И с когда?
- С понедельника.
- Очередной циркуляр?
- Привыкай: инородное слово. Включено в категорию терминов с агрессивно-тлетворным влиянием.
- А в переводах использовать можно?
- Дождись от минкульта инструкций. Но если добавить «скандально известный», то, думаю, можно.

- Вот на Руси и построили хай-тек-средневековье!
- Да какой там хай-тек! У нас на дворе Ренессанс-мракобесие.
- Быстро ребятки управились.
- Быстро. Они же в ответе за тех, кого приручили.
- Быстро же нас приручили.
- И все ради нашей с тобой безопасности.
- Говорила тебе уезжать...
- Тогда было рано.
- А нынче уж поздно.
- Чччерт, опять!.. Весь ужался, почух и изгорбился.
- И прожилки на стеблях набухли, как вены, того и гляди разорвутся.
- Не плачь.
- Сто раз обещали при нем о плохом не трепаться!
- Возьми себя в руки.
- Это он потому, что ему за нас больно. Всем наплевать, а ему за нас больно...

* * *

Вот что почти им запомнилось: раннее утро; ноябрь; дымное, грузное небо.
На неубранной улице – слякоть. Подмерзшая за ночь, наверняка превратилась в стекло и по краям загустела стальными зубцами.

Запеленатый в безверие луч лижет ядом окно.

Глаза у супругов раскрыты и вчетвером безучастно глядят в потолок из бессонной, обрванной ночи.

Ощущение: умерли.

Знание: живы.

За желтеющей стенкой – не поенный с вечера дивный цветок.

За тягучим рассветом – привычное вялое действо: дождались будильника, прокляли все и обреченно воскресли.

Рутина!..

* * *

Через год или два – разговор:

– Знаешь, что самое странное? Нас ведь никто не ломал.

– Но в итоге сломали, как всех.

– А им стыдно, как нам – этим всем?

– Нам не стыдно, а стадно.

– Хочешь сказать, мы – не мы, а они? Я – уже и не я, а она? Но которая?

– Ты – не ты, а, опять же, они. Помнишь, у экзистенциалистов? Формула недолжного существования.

– «Я живут»?

– «Я думают». «Я делают». «Я любят».

– А ты любят?

– Я полагают, что да.

– Но ты не уверены?

– Я боюсь подумать, что это не так.

– А я не боюсь.

– Ты больше не любят меня?

- Я больше не знают, кто я и кто ты.
- Труссы мы. Подлецы и изменники.
- Потому нам и стадно.
- Потому мы и живы.
- Я живут, ты живут, мы живут. Лишь одна Невозможка живет как ни в чем не бывало.
- С чего ты взяла?
- У нее нет сознания, есть только чутье... Где-то читала, наш мозг принимает решение за восемь секунд до того, как очнется сознание, чтобы постфактум присвоить решение себе. Оно обожает халяву. Но в целом подкорка проворней рассудка и им верховодит.
- Выходит, свобода воли – иллюзия?
- Величайшее надувательство гуманизма, проигравшего все свои ставки и окончательно вылетевшего в трубу.
- Но хотя бы у каждого эта недосвобода – своя?
- Только в пределах иллюзии.
- Дикость какая-то.
- Дикость. Но имеется и утешение: мозг – фабрикат не серийный, а штучный, почти уникальный. На коленке его не скопируешь.
- Утешение так себе.
- Тем не менее власть предрежащих сие положение дел раздражает. Им нейдет налаживать свое производство голов – чтобы вместо мозгов сходили с конвейера полые чурки. Заливаешь бурду до краев, потом запалял – и порядок.
- Ну, это как раз и не новость.
- А новость, что мы отдаляемся? Тяготимся друг другом, потерянно маемся.
- Глупости. Я тебя очень люблю.
- И совсем не боишься?
- Чего мне бояться?
- Того, что предам, подведу.
- За каким еще дьяволом?
- Мало ли. Женская психика, регулы, приступ мигрени... Могу и сорваться.
- Не можешь.
- Это пока не могу.
- Заруби на носу: ты сорваться не можешь!
- Хочешь историю? Ты же историк.
- Хочу.
- У меня была тетя. Добрейшая женщина. Ради мужа пошла б на костер. Не пошла бы, а – прыгнула. В семье было трое детей. Жили все душа в душу. И вот однажды, шинкуя капусту, тетя поранила палец. Посмотрела, как капает кровь, и направилась в комнату. Дядя лежал на диване с газетой... Здесь я делаю паузу.
- погоди, ты на что намекаешь? Неужто пырнула?
- Проткнула газету ножом. Там, в груди у него, и оставила. После чего воротилась на кухню, промыла порез, обработала перекисью и залепила пластырем, затем достала бутылку из морозильника, хлопнула стопочку водки и позвонила в «Скорую помощь». Но сперва были пластырь и стопочка... Признать подсудимую невменяемой на процессе, увы, не срослось. Тетя была абсолютно здорова и на вопросы «зачем» отвечала: «Если б знала зачем, то убила бы раньше». А потом оказалось, он ей изменял.
- К чему ты мне это сейчас рассказала?
- Да как-то вдруг вспомнилось. Мозг и те восемь секунд. Думаю, ей их хватило, чтобы пройти от стола до дивана и совершить преступление. Тот самый случай, когда побеждает чутье.

- И что же учуяла ты?
- Я – пока ничего. Ты мне верен?
- А ты сомневаешься?
- Вопрос номер два: можно ль быть верным кому-то, если неверен себе?
- Быть верным кому-то – не фокус. Труднее быть верным себе... Где твоя тетя теперь?
- Умерла.
- За решеткой?
- На так называемой воле. Вдруг поняла, что свободы в тюрьме было больше, и шагнула под поезд... Русская классика. Анна Каренина.
- Просто проткнула газету и даже не посмотрела в лицо? Ни слова ему не сказала?
- Ни слова. И не посмотрела. Слишком долго он вместо лица предъявлял ей газету.
- Я в шоке.
- Забей.
- Ты меня огорошила.
- Я тебе соврала.
- Как так – соврала? На фига?
- Спроси что полегче. Не знаю. Считай, неудачная шутка. Впрочем, если поверил, довольно удачная... А теперь, сделай милость, расслабься и постарайся заснуть. Я почти уже сплю.
- У тебя на щеках блестят слезы.
- Пусть себе. Мне не мешают.
- А мне вот мешают.
- Люк свой задрай! Задолбал.
- Битый час муж ворочался, жадно, свирепо зевал, потом горько вздохнул и покосился на женщину.
- Холодрыга. Насквозь пробирает. Холодно спать и не спать тоже холодно. Никогда так мне не было холодно думать.
- Тогда и не думай.
- Может, обняться?
- Во мне такой холод, что если к нему прислонится еще один холод, то станет вдвойне холодней.
- Так не бывает!
- У нас только так и бывает. Будь любезен, отлезь на свою половину.
- Помолчали.
- Замучились вместе не думать и снова открыли глаза.
- Кого ты сейчас переводишь?
- Да так, одного графомана.
- А тема?
- Убийство, звериная страсть, итальянская кухня и ноги.
- Ноги?
- Точеные женские ноги. Они там на каждой странице.
- Эротический триллер?
- Халтура с пальбой, юморком и дежурным развратом. Весьма хорошо продается.
- А как же нетленка?
- Работаю в стол.
- Но – работаешь?
- Периодически.
- Не хватает свободных часов?

– Не хватает свободных и искренних слов. Чем дальше, тем больше я их забываю. Какой-то подвывих сознания: вроде бы все при тебе, а самого нужного нету. Запропастилось куда-то, хоть было всегда под рукой. Понимаешь, о чем я? Эти утырки лишили нас необходимого. В истории прежде такое бывало?

– В истории и не такое бывало.

– И такие, как мы, в ней бывали?

– Имя им – легион.

– Тоже разменная мелочь эпох?

– Расходные винтики-шпунтики.

– Живодерка она.

– Живодерка.

– А ты мазохист.

– Вот те раз!

– Она тебя дрючит, и ты же ее защищаешь.

– Разве что самую малость – от профанации временем.

– То и дело долдонишь эту муру! Можно подумать, что для истории время – не кровеносные жилы, не пульс, не костяк, не опора, а так – мишура, бутафория.

– Хочешь со мной поругаться?

– Хочу.

– Тогда управляйся сама. Я тебе не помощник.

– Высокомерная сволочь.

Он снова вздохнул:

– Хорошо. Если ты так настаиваешь...

– Шел бы ты лесом, *настаиваю*, – передразнила она. – Тоже мне, Аристотель. Не смей меня трогать!

Завозились, подрались немного. Почти не согрелись.

Вынырнув из-под одеяла, муж положил подбородок жене на плечо и сказал:

– Все-таки я тебя очень люблю.

– А я тебя – нет. Ты треплю.

– Просто не знаю, как лучше тебе объяснить.

– А на пальцах нельзя?

– Предлагаешь прибегнуть к метафоре?

– Хоть к прозопопее!

Он подумал, что время – давно не река. И не круговорот. Не спираль, не стрела, не прямая и уж никак не судия. Время – фикция всяческой функции.

Затем вслух произнес:

– Время – это то «быстро», то «медленно».

Женщина хмыкнула:

– Метафизировал чрезвычайно доходчиво.

– Ладно, давай рассуждать философски. Возьмем, например, Большой взрыв...

– Предположим, накрыли ладошкой и взяли. Что дальше?

– Приплюсуем к нему многомиллионлетнее расширение пространства со скоростью света.

– Приплюсовали. И что?

– Какая же это история? Измеримая неизмеримость! Проницаемая мембрана между вечностью и бесконечностью. Космически-квантовый оксюморон. Абстрактно-конкретная относительность, осязаемая субъектом сквозь призму психофизических паттернов. Время – текучесть, летучесть, безумная скорость и непрерывность случайностей, возведенных в бес-

счетную степень, равную сумме несметных галактик и посему когерентную нашему «медленно».

– Красиво сказал – как соврал. Притворюсь, что усвоила. Теперь перейдем-ка к истории.
– Если время – направленный хаос, то история – это сюжет. Прихотливая ломкая линия тайной идеи конечности.

– Смертоносной идеи?

– Идеи всегда смертоносны.

– А как же идея бессмертия?

– Рано ли, поздно, но жизнь на планете иссякнет, а с нею в ничто обратятся рожденные ею идеи, в том числе и бессмертные. Потому-то и хочется выяснить, ради чего ею нас одарили.

– Жизнью? Ни ради чего.

– Отсутствие умысла не означает отсутствие смысла.

– Снова врешь, как поёшь.

– Вспомни про тетю и восемь секунд. Зарезала мужа без умысла, что не помешало убийству обрести содержательный смысл.

– Да соврала я про тетю!

– Неважно.

– Мы оба заврались.

– Неважно.

– И какой мне был прок от твоих пышнословий? Сейчас ты опять защищаешь вранье.

– Знаешь, у нас в институте заведовал кафедрой некто профессор Пророков. Ага, вот такая фамилия. Я писал у него курсовую: «Защита истории от посягательств русских писателей». Правда, крутой заголовок? Претенциозный до грубиянства... Вдоль-поперек исчеркав мой трактат, вещий старец Пророков вынес премудрый вердикт: «Вы боретесь с тем, что насаждаете сами на каждой странице. В вашем опусе вас, молодой человек, слишком много. Столь же избыточно, как и нещадно громимых писателей. Покумекайте лучше над главным вопросом: может, защита истории заключается в том, чтобы спрятать ее – и себя заодно – от настоящего времени?»

– А может, себя от нее?

– Не язви.

– Давай спать. Заколебала твоя демагогия!

Через минуту супруга заснула, и он почувствовал кожей – каждой клеткой пупырчатой вымерзшей кожи, – как они отдаляются, а в темноте между ними могучими легкими дышит неодолимая бездна.

Дышит и мерно шевелится...

* * *

Батареи в ту зиму топили вполсилы, а неполадки в котельных объясняли диверсиями.

Невозможку супруги с великим трудом отстояли – при помощи вставших в копеечку масляных радиаторов.

Из-за сибирских морозов люди обрюзгли одеждой, ужались душой и озлились, чуть что лезли в драку, но на протестные акции не собирались ни разу. Стоицизм москвичей поощряли провластные медиа. Все другие могильно молчали, потому что других больше не было.

Кто-то завел идиотскую моду сеять беспочвенно панику: почти ежедневно в префектуры столицы поступали звонки о минировании, после чего специальные службы осуществляли экстренную эвакуацию.

Звонили всегда по утрам, часам к десяти, что представителям органов было, пожалуй что, на руку. Выказав должную выучку, оперативность реакций и общекомандную слаженность, они управлялись с проблемой урочно, в рамках рабочего графика.

Совпадение тайминга бомбозвонков с длиной светового дня неблагонадежных сограждан наводило на желчные выводы, но предавать подозрения огласке крамольники редко отваживались.

За две пятилетки происки внешних врагов населению поднадоели, а потому федеральные телеканалы переключились на поиски внутренних злопыхателей.

Для острастки народ собирали в шеренги и занимали упругими маршами на демонстрациях, а чтобы вякал поменьше, подсыпали в клетки календаря патриотических праздников.

Иногда раздавались сопливые взрывы. Упражнялись все больше на свалках и на контейнерах с мусором. Слава богу, почти никого не убили. Пару раз подстрелили заезжих наймитов из Азии, но прагматичные массы сочли инциденты результатом разборок самих гастарбайтеров.

Затянув пояса на затурканных подданных, страна ковыляла ни шатко ни валко к высокой и призрачной цели. Экономика плохо ей в том помогала. Журналисты страшали терактами, без передыху горланили о саботаже и подлomie, «крысином» вредительстве, но мало кто видел все это в глаза, так что верить ретивым кликушам поленивались.

Зато не ленились ходить на футбол. Правда, теперь – тоже маршем. Начиная с апреля болельщикам строго вменялось передвигаться по улицам строем. Фанаты почти не роптали: очевидно, держали в уме, что им дозволяется, как в старину, драть луженые глотки на стадионе (по меркам режимных рестрикций, немалая привилегия!).

В мае на город напали клювастые черные птицы, и тут уж всем сделалось страшно. Впечатление было такое, что прошлогодние мухи вдруг воплотились в прожорливых воронов. Твари с граем буянили в небе, яростно бились об окна и пачкали стены облезлыми смрадными перьями. Чтob не полопались стекла, их, памятуя войну, залепили крест-накрест широкими клейкими лентами.

Из-за нашествия пернатых образовалась нехватка двукрылых, идущих на корм мухоловке. Хочешь не хочешь, пришлось обращаться к корсару.

Вернувшись из лавки, супруг сообщил:

– Пират похудел. И наколки повытравил. А невидимка-жако разболтался: вопит вместо драя «драй цайтен».

– Три времени?

– Я тут прикинул: что, если этот его Бонифаций – оракул, предвестник грядущих в Москве перемен? Подумай сама: первое время – вон там, за окном, то, что движется вспять. А второе – вот здесь, только наше, то, что не движется вовсе. Надо всего лишь дождаться нам третье и распахнуть ему двери.

– Чтобы двинуться снова вперед, прихвостившись за третьим мифическим временем? Сам-то ты в него веришь?

– Почти.

– Что ж, давай будем верить – почти...

* * *

Тем же вечером, слушая хруст насекомых dospехов:

– Все-таки странный цветок. Чересчур многоликий и разный: и моллюск, и творец, и растение, и хищник.

– То урод, то красавец.

– То дитя, то убийца.

- Одним словом, мундик.
- Другим – Невозможка.
- Прекрасное имя.
- Прямо в яблочко.

* * *

Лето выдалось бурным. Сперва объявился Архипов – тот самый, что с папой из органов. Пришел не один, а с шестью «космонавтами». Те скрутили Рептилия и погрузили его в полицейский фургон.

Собрав коллектив, Архипов держался осанисто, метко клеймя перевертыша. Тогда и узнали, зачем был Рептилию лаз под землей: посредством него предприимчивый оборотень умыкал из хранилищ бесценные подлинники. Впоследствии часть документов благополучно всплывала на аукционах за рубежом.

Разоблачивши изменника, Архипов озвучил приказы: один – об отставке начальника, второй – о своем назначении.

Перед тем как уйти на покой, бывший шеф поделился в курилке, что в списке пропаж оказалось немало фантомов: «В архиве их попросту не было!»

Спустя три недели они туда были возвращены, причем триумфально: с ТВ-новостями, толпой горделивых чиновников и скромным банкетом для избранных.

– А я что тебе говорила? Сплошные подлоги, брехня! Таким же макарон ее подменяли всегда, твою клеветницу историю.

– Это неслыханно! Ты понимаешь, что это ужасно, преступно, беспрецедентно, бесчестно, безбожно, бес... бесчеловечно?!

– Очень как раз человечно. Бесчеловечно от них ожидать покаяния.

– И что же теперь, промолчать?

– Да хоть хором орите. Всей орущей гурьбой и повяжут. Лучше сиди, где сидишь, и не рыпайся. Не то они мигом тебя пересадят.

* * *

К осени жизнь покатила своим чередом – то есть мимо. Лишь иногда поддевала с телеги багром и небрежно швыряла в ведро вместе с прочим уловом.

– Можешь поздравить: твой муж толкал речь. Просвещал наш актив.

– И о чем?

– О загнивающем Западе.

– Харэ скоморошничать.

– Архипов совсем очумел. Издал директиву ежемесячно делать доклады на злободневные темы. Я выбрал культуру.

– И как, сошло с рук?

– Напрасно сейчас издеваешься. Я на этой задачке буквально сломал себе голову. Чуть с ума не сошел. Но в итоге придумал.

– Готова поспорить, от этой придумки Запад скоростречно загнил.

– А то! Представь, что тебе очень нужно правдиво нести ахинею, да еще не закашляться со смеху.

– Ты не закашлялся?

– Даже воды не глотнул. Ты послушай...

– А разве тебя не дослушали? Или актива тебе недостаточно?

– Слушай, кончай выкаблучиваться, лучше внимательно слушай.

- А слушать послушно?
- Не ерничай.
- Слушаюсь.

Ссориться муж не хотел, супруге же было до лампочки. Ей теперь часто бывало до лампочки, ссориться им или нет.

Чтобы об этом не думать, он присел перед ней на ковер и бодро заговорил:

– Я нащупал у Запада самую слабую точку. На нее и нажал. Через десять минут так заврался, что вдруг осознал, что уже и не вру, а Цицерону на полном серьезе.

– И какая же это у них там болючая точка?

Он подморгнул, щелкнул пальцами и провозгласил:

– ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ДИСБАЛАНС!

– У-ти-бози-мой.

– Будь добра, обойдись без своей шепелявни навыворот.

– Йес, сё! Яволь! Си, сеньор! Уи, се сар! – Отдав мужу честь, она взгромоздилась с ногами на кресло и повторила с сарказмом: – Стало быть, дисбаланс. Стесняюсь спросить, как же их угораздило дисбалансировать свой пресловутый баланс?

Он пропустил ее реплику мимо ушей.

– Для затравки я выдвинул тезис: тоталитарная власть жаждет присвоить себе эксклюзивное право на дискурс, то бишь на все речевые стандарты и нормы. Тут зал поднапрягся, а бдительный босс наш Архипов, бледнея губами, нахмурился. Насладившись его замешательством, я с легким сердцем продолжил. Но теперь говорил лишь о Западе: геях, трансгендерах, черных, зеленых, чикано, митушницах... Сыпал перлами типа: «узколобые неофиты политкорректности», «разнуздавшиеся инсургенты», «кукловоды всемирного заговора», «подстрекатели атлантического помешательства», «оголтелые прозелиты фарисейской риторики». В общем, нехило и сам позабавился. А потом подстегнул под хулу дисбаланс. Дальше уже – как по маслу: дескать, в Европе и Штатах мы наблюдаем сегодня целый комплекс процессов, разрушающих фундаментальную базу, на которой и зиждется демократический социум, – вот-вот канет в Лету контроль большинства над меньшинствами. Бла-бла-бла... Узуальный порядок вещей, разглагольствую я, это когда меньшинство, обделенное властью и капиталами, стремится окрепнуть и стать большинством, чтобы затем с позиции силы втюхивать публике собственные приоритеты. Бла-бла, бла-бла, бла-бла... Однако сейчас ситуация перевернулась с ног на голову: коллективным сознанием Запада правят меньшинства. Не те, что влиятельны или богаты, а те, что в рецепции масс, одурманенных беспринципными пропагандистами новой реальности, отождествляются с угнетенными жертвами. Эти жертвы так неугомонно кричат, что традиционные страты демократических обществ подспудно, одна за другой, вгоняются в краску вины из-за навязанной им конъюнктурными СМИ иезуитской морали. Бла-бла-бла, бла-бла-бла... Деградация здравого смысла дошла до того, рапортую я с энтузиазмом, что жеманным страдальцам всю потрафляют – только б потише они верещали. Но чем охотнее им потрафляют, тем недовольнее «жертвы». А чем недовольнее «жертвы», тем недовольнее те, кто им потрафляет... Короче, дурдом. Бла-бла-бла... При этом нельзя не учесть, что изначально благие намерения угождать недовольным за счет довольных – кои автоматически сами перемещаются в стан недовольных, – оборачиваются неминуемой катастрофой, ибо раз вкусившие плод недовольства редко когда соглашаются стать хоть немного довольными. Таким образом мы получаем насквозь недовольное общество.

– Безупречная логика.

– Да и фактов – вагон. Стоило только конька оседлать, и меня понесло.

– Дай угадаю: к руинам псевдокультуры?

– Весьма кстати приплел и насилие над языком, так что спасибо за консультацию. Очень коллегам понравились все эти «они живу», «они вырождаюсь», «они голосую»...

– Ах вот оно что!

Пролистнул свой смартфон.

– «Местоимение *they*³ как форма единственного числа для обозначения небинарного гендера⁴»... У меня все записано.

– Я тебе говорила, что прецеденты в английском можно найти века эдак с четырнадцатого. Употреблением схожих конструкций грешили Шекспир и Джейн Остин, да мало ли кто! Полагаю, о них ты не упомянул?

– Некогда было вдаваться в подробности. Я скакал не рысцой, а галопом... Хорошо иногда побыть сволочью! Здорово опьяняет. В какой-то момент – даже слишком. Знаешь, пока говорил, я ведь и вправду его ненавидел.

– Кого?

– Разложившийся Запад.

Женщина расхохоталась. Упав на колени, она упоенно, жестоко смеялась, потом подскокила и бросилась в ванную.

Стараясь не слышать утробные стоны, муж сидел на ковре и рассеянно думал: «Снова стошнило. Но это не то. Было бы то, мы бы выжили. Только это не то. То не выходит по срокам. Любви у нас не было месяцев пять. Или шесть?.. Треклятая бездна!»

Он вспомнил, как по пути от метро наткнулся на околевшего ворона. Тот валялся в грязи посреди тротуара – еще цельнокройный, никем не затоптанный. Поддев башмаком бездыханное тельце, мужчина спихнул его дальше, в траву, на прибитый дождями газон.

«Где-то я видел такую же мертвую птицу – распростертую, мутную глазом, с крыльями разной длины... Должно быть, во сне примерещилась.

Но примерещилась очень давно.

Так давно, что уже все едино!»

* * *

После очередного «минирования» всех сотрудников госархива подвергли рутинному обыску и, обязав расписаться в журнале учета, отправили по домам.

Муж вернулся к себе еще засветло.

Жена была в душе.

На столе в кабинете лежали бумаги. Уронив взгляд на титульный лист, супруг прочитал заголовок: «Тетя Каренина». Строчкой ниже стояло: «Рассказ».

За вычетом мелких деталей, текст следовал строго сюжету с ножом.

– Ты что теперь, пишешь?

Она запахла халат, а поверх головы завил в чалму полотенце.

– Дурачусь. Застряла на переводе, решила немного отвлечься.

– По-моему, очень талантливо.

– Тебя зацепило? Я рада.

– Есть еще что-нибудь?

– Ничего. Кроме одной недоношенной вещи. Там всего-то страничка.

– А сколько должно быть?

– Страничка.

– Значит, вещь закончена?

³ They – они (*англ.*).

⁴ Небинарный гендер – это спектр гендерных идентичностей, которые не являются исключительно женскими или мужскими. Небинарные люди могут самоопределяться как би- или тригендеры (носители двух или трех полов), агендеры, негендеры, бесполое, или нейтроиды (не имеющие пола вовсе), и гендерфлюиды (имеющие изменяющуюся гендерную идентичность).

– У нее нет конца. В том и прелесть: конца у нее быть не может.

– Читай.

– Это просто набросок.

– Читай.

– Затея не слишком моя – так, привет неудачному вестерну. Посмотрела его и расстроилась. Мощный старт, а потом – дребедень. Подмывало его переделать. Получилась опять чепуха, но хотя бы с приемлемым смыслом.

– Читай!

Жена поднесла к глазам пустую ладонь и сделала вид, что читает:

– Прерия. Пять человек в экипаже: семейная пара с сынишкой и двое мурластых громил, от которых разит дрянным виски. Слово за слово, и отморозки наглеют, напропалую дерзят и, войдя в раж, подбивают клинья к супруге героя. Тот не желает проблем и вежливо просит попутчиков прекратить домогательства. На него наставляют большой револьвер. Выбив его у мерзавца из рук, муж выпрастывает из кармана миниатюрный дерринджер и велит сыну поднять с пола «кольт». Подросток встает, нагибается, и в это мгновение второй бандюган стреляет его в охапку, приставляет к горлу нож и отбирает оружие, чтобы направить на женщину. Между тем первый разбойник лезет к себе в саквояж, вынимает оттуда обрез, целится мужчине в лоб и предлагает спрыгнуть с подножки на полном ходу. Герой возражает: «Если я подчинюсь, вы зарежете сына и обесчестите леди, а с позором таким мне не жить. Уж лучше нажму на курок и поквитаюсь хотя бы с твоим недотепой-дружком. Тогда ты пристрелишь меня, затем сына, ну а потом, коль управишься с ней в одиночку, возьмешь силой жену, только в этот расклад я не верю, ибо прежде, чем спустишь штаны, она тебе выгрызет глотку. Так что лучше бы вам, недоумкам, улизнуть подобру-поздорову. У вас десять секунд». Засим, задрав ногу, каблуком сшибает с дверцы задвижку, свободной рукой выуживает из жилета луковку часов и начинает отсчет. Многоточие...

– Жесть!

– Ситуация экзистенциального выбора для всех пятерых персонажей. Куда ни кинь, всюду клин. Только тикает время и летит по степи экипаж.

– Круто! Давай-ка еще.

– Остальное пока не написано.

– Может, проверим на слух?

– Хочу написать рассказ «Иногда» – о релятивизме человеческой сущности. Иногда герой трус, иногда он смельчак, иногда – бунтовщик, иногда – конформист. Вся судьба персонажа сводится к этому «иногда». Словно Фортуна кидает игральные кости и, в соответствии с выпавшей суммой, определяет его поведение. Самое странное, что в любой из своих ипостасей – труса и смельчака, лицемера и простака, подонка и праведника – герой остается собой от макушки до пят. Каждая роль ему впору, и все они истинны. Оттого-то он сам – сплошь обман, перманентная ложь... Зря насупился, это не про тебя. Это про «я живут».

– В микроформате. Зачетный рассказ.

И подумал: зачетный удар. Звезданула под дых. Не нокаут еще, но нокдаун приличный. Интересно, давно ли она тренируется?

Жена поднялась, промазала пальцами мимо его напряженной руки, чуть задела ребро подлокотника, распустила чалму, по-кошачьи чихнула и босиком прошла в спальню. Там стряхнула халат на кровать, достала из тумбочки фен, распутала шнур, засунула вилку в розетку, ссутулилась, как вопросительный знак, перед зеркалом и битый час сушила волосы, пытаясь узнать себя в отражении, лишенном одежд и надежд.

* * *

Кошмар навещал ее ночи не часто, но всякий раз повергал ее в оторопь.

Сон затевался, как фильм в кинотеатре, причем зрители были еще и актерами.

...На улице ливень. Промокнув до нитки и отстояв к кассе очередь, супруги заходят в малюсенький зал, освещенный мерцающей лампой в тюремном решетчатом коконе, и по мокрой картонке, гремя кандалами, шаркают в глубь помещения. Перед экраном они замирают и понуро таращатся на пригвожденный к холстине портрет.

Прямо под ним, распластав тела пирамидкой в окатные мякоти, примостился корсар-продавец. Пахнет дождем и заброшенным кладбищем. Цветов почти нет, а что есть – те пожули, потухли окраской, скукожились.

Невозможки не видно. Не видно совсем – ни на квелом экране, ни в зыбкой, обманчивой комнате.

Отсутствие мухоловки незримо (не только на пленке, но и наяву, где явь – это сон, а сон – это явная явь, явь в квадрате, а может, и в кубе. Нет ничего достовернее этой апатетической яви), но более чем осязаемо. Больше, чем нарочитое и оттого ирреальное, невсамделишное присутствие нагроможденных повсюду – включая оживший мазками экран – аляповатых предметов: анатомических банок, лабораторных реторт, химических колб, чернокнижных шкафов с корешками седых фолиантов, витиеватых гирлянд из хрустальных кишок, цепастых кадил с золоченой трэфовой макушкой, призрачных амфор, струистых подсвечников, алчущих кубков, объемистых урн с безымянным покомканым прахом, ряженных в женские тулова ваз, чучел плюгавых зверушек и юродивой стаи химер в целлулоидном снопе луча, искусанном роем подснежных мошек.

Вместо поддона с горшком на прилавке стоит попугай. Его лихорадит. Откликаясь на дрожь, мелко звякает ложка в сухом побурелом стакане, что плесневеет в заволглом углу, на пристенных задворках столешницы. Докучливый звук нагоняет хандру.

На бельмастом экране – скелеты деревьев, свинцовое небо, тоска и зудящая музыка.

Внезапно тяжелую поступь саундтрека (перегуды кольчужной, воинственной готики) нарушает щелчок за спиной. Сразу следом – шаги. Лицо продавца коченеет, черты застывают, как воск, и превращаются в слепок предсмертного зоркого ужаса. Медленно тая, воск отекает на жидкие волны тельняшки.

Пока обнажается череп, шаги за спиной все идут. Идут очень быстро, но медленный воск с головы продавца почему-то стекает быстрее.

Попугай не кричит. Даже когда опадает со страху линялыми перьями. Те выстилают прилавок, крошатся, дробятся, микробятся и пресуществляются в пепел. Где-то в подкорке скоблит апатичная мысль: может, зарыться в него, приодевшись дохлятиной, рухнуть на корточки и затаиться?

Чавкая по волдырям на размокшей картонке, шаги подбираются ближе и ближе, вот-вот – и войдут в твою плоть. Убежать нету сил, да и некуда. Сил нет даже на то, чтоб о бегстве подумать.

Бесперый жако, неуклюже вспорхнув, пикирует кляксой на рыхлый экран, натывается на вездесущий портрет, срывается в штопор и низвергается тушкой на череп хозяина. Поклевав по рябой неподатливой кости, попугай принимается злобно карябать когтями по темени.

Крупным планом – витье червячков. Они выползают из норок глазниц, расплетаются, ткнут канитель и начинают собою зарубки, вминаясь сегмент за сегментом и спайка за спайкой в кустистые борозды, после чего (треск разряда, шипение жареной слизи) расплавляются в жижу и засыхают разводом лоснистых чернил. Нацарапав тату, птица победно кудахчет, машет плешивыми крыльями и растворяется в желтом дыму, повалившем из пышущей зноем подсобки.

Едва попугай исчезает, как тут же зола на прилавке опять обращается в перья.
Объектив отплывает на локоть назад.

Шаги приближаются, чавкают. Перья на плечи еще не надеты.

Завороженно глядя на череп, супруги читают послание. Что-то очень знакомое. Похоже на эпитафию. Крупным планом – лиловая надпись: «Не взрыв, но всхлип». Пророчество Элиота, узнает цитату жена, впопыхах садится на корточки (глухо звенят кандалы), тянет мужа за плащ и, очертив мыслью круг, повторяет поэму с начала, точно магическое заклинание: «Мы полые люди, мы чучела, а не люди...»

Скучно хрустят позвонки – это шаги проторяют их с мужем согбенные спины.

Заполотно мелькает экран. Опрокинувшись конусом в матовый омут небытия, он волочит с собою в воронку свербящую гиблую музыку, пока не погаснет в своем потайном заграницье.

Хыль-хыль, колошматится пленка на голой бобине. *Хыль-хыль, хы-лы-хыль, хрррр...*

Вот и фильму конец!

Женщина просыпается и какое-то время слушает уханье сердца, но слышит не скачущий пульс, а смачное чавканье быстрых шагов, удивляясь тому, что лежит не в гробу, и что рядом в кровати лежит ее муж, и что оба они не на корточках...

* * *

– Прочитала намеренно занятную повестушку, по-французски фривольную – с галльской перчинкой и ироничным прищуром. Главный герой, довольно давно, довольно удачно и плодотворно женатый, как-то раз видит сон, а во сне том – ловушка, и, надо заметить, ловушка весьма эротичная. Написано тонко, подробно и, для особо нескромных читателей, в самых интимных и тесных местах по-аптекарьски скупоспрыснуто пошлостью. В этом чувственном, сказочном сне наш герой лобызает совсем не жену, а давно позабытую и навсегда безвозвратную женщину, которую тайно когда-то любил и про которую честно не помнил лет двадцать. А тут вдруг она возьми да воскресни в его каверзном сне. Этот сон-поцелуй так первозданно прекрасен, запретно красив и неистово вкусен, что размывает фундамент его повседневности, от уюта которой теперь остаются руины. Герой потрясен, приворожен, сражен наповал. Все идет вкривь и вкось. Ничто ему больше не мило – ни дом, ни жена, ни возня карапузов. Все отныне поддельно, несправедливо, глупо, будто его обокрали на сокровенное счастье. День за днем он томится желанием встречи с возлюбленной из обольстительных грез, которые чуть ли не каждую ночь повторяются. Наконец, спустя месяц-другой ему удастся назначить предмету влечения randevu. Казалось бы, вот она, благополучная кульминация. Не тут-то было! Повестушка, напомним, с прищуром... В ходе встречи воздушные замки героя один за другим рассыпаются прахом: все почти так, как и было в его сновидениях, но при этом настолько не так, что его накрывает отчаяние. Нет, девица по-прежнему очень пригожа, стройна, соблазнительна, пахнет свежо и роскошно, «как сиреневый сад под дождем», но чего-то ему не хватает. Какой-то заветной искры, от которой займется вселенский пожар. Ее-то и нет, этой громкой искры. Нету даже искринки – только снулые угли на сердце да сухость во рту, беглость собственных глаз и першение в горле. Остается одна лишь надежда – на поцелуй, пережитый во сне. Но его еще нужно проверить ущербной реальностью. С добрый час утопист набирается смелости. Наконец, застонав, в полуобмороке, заключает в объятия дамочку и впивается ей в уста. И вот тут – полный крах: уста-то ее – не уста, а обычные губы, чересчур плотоядные и как-то банально сговорчивые. Нет в них должной гордыни. Слишком покладисты для его ускользающей и – уже навсегда – несбыточной героини. Вкус поцелуя его предает и оказывается невыносимым. Воротившись домой, кавалер запирается в кабинете и безутешно рыдает, понимая, что жизнь его кончена. Что она его облапошила. С этой ночи ничто уж не сможет его убедить, что она

состоялась. Единственной истинной радостью в ней оказался тот поцелуй, что настиг его ночью во сне приговором. Напоследок герой задается вопросом: возможна ли жизнь *настоящая* где-нибудь кроме сна?... Такая вот повесть. Почти анекдот.

– И в чем тут мораль?

– Мораль здесь печальна: настоящая жизнь невозможна, если ты ее спутал с мечтой.

– Это если мечта не была настоящей.

– Может и так. Хочешь еще анекдот?

– Не хочу. Давай теперь чистую правду: зачем рассказала?

– Чистая правда бывает грязнее неправды.

– Я готов и запачкаться.

– Тогда начну с фактов. Длина кровеносной системы – без малого сто тысяч верст, что больше экватора в два с лишним раза. И всю эту кровь разгоняет в нас сердце одним лишь ударом. А влюбленное сердце, по статистическим выкладкам, бьется сильнее и чаще. Поди подгони под него габариты Земли!

– Как-то доселе планета справлялась.

– Вот именно – *как-то*! А вовсе не так, как должна. Факт в том, что на свете нельзя уместиться любви, чтоб совсем уж не скрючиться. Земля под нее приспособлена слабо.

– Венера – тем более. Дальше.

– Факт второй: вечный двигатель. Его попросту нет.

– Ну и что?

– А то, что все во Вселенной функционирует в рамках погрешности. Вот почему моторы ломаются, механизмы стираются, орбиты срываются, сердца замирают, кости дряхлеют, конечности высыхают, а бесконечности валяются в черные дыры. В каждом процессе заложена погильная ошибка. И только одно не подвержено амортизации, не знает просчетов и промахов – смерть. От нее спасу нет. Она контролирует все и все гарантированно уничтожает. Что б мы ни делали, мы совершаем с оглядкой на смерть. Из-за нее мы трусливы, покорны, безропотны. Но при этом послушны мы хитро и скверно, эгоистически, нехорошо. Боимся не собственной низости, а за нее нам возмездия. Да еще приплетаем сюда небеса. Посмотри, как мы молимся! В каждой молитве кланчим пощады и сочиняем в уме дивиденды: дай нам, Боже, здоровья, удачи и денег. Мы поклоняемся с *умыслом* и полагаем, что Бог одарит нас счастливым билетом за то, что мы преклонили колени и на какой-то десяток минут отключили гордыню. Слезливость со свечкой в руке – это и есть основное Ему поднесение. Нет ничего подлее молитвы, похожей на лотерею и прописанной нам как великое таинство, священнодействие. Почему же мы просим, а не отдаем? Почему не попросим всевышнего *взять* от нас, а не дать? Да потому, что в нас говорит боязнь неизбежной кончины. В нас молится смерть, а не бессмертье души, в которое мы и не очень-то верим. Оттого-то нам надобен Бог-покровитель, а не Господь-грудничок, Коего каждый из нас, будь мы храбрее, был бы обязан взрастить в своем сердце и отдать Ему самые чистые и животворные соки души – отдать безвозмездно, просто за то, что позволил нам веровать. Мы ж предлагаем грошовый задаток в расчете на скорую прибыль. Ненавижу смотреть на молящихся. Ненавижу вранье. Ненавижу торгашество. Но больше всего ненавижу я смерть – ту, которая нас убивает при жизни. Все в этом мире впустую.

– И любовь – пустота?

– Нет. Любовь – ее жертва. Но жертва, опять же, впустую... И смех твой впустую. Им ты меня не przyjmешь. Пустоту не przyjmешь. Дырку в дырке не сделаешь.

– Если ты пустота, отчего же тогда тебе больно?

– Оттого что таскать пустоту – тяжело. Помнишь легенду о горемыке Сизифе? Кажется, я ее расшифровала. Камень, что бедолага прет в гору, и есть пустота. Греки те еще мастаки на метафоры. Да и боги у них человечней: грешат, попадают впросак, сквернословят и квасят без меры, как люди. Оно и понятно: все эти зевсы с афинами созданы были по *нашему*

образу и подобию, а не наоборот. Может, с тех пор как мы их согнали с Олимпа, и пошло все у нас вверх тормашками? Сам посудите: разве не проще поладить с собственными кровными шалунишками, заигравшимися на высокогорье в правителей, чем трястись поджилками из-за невидимого папаши, одного на шесть или семь миллиардов, у которого только и дел, что страдать, не платить алименты да лениться ударить палец о палец, чтобы явить нам свою справедливость? На сей счет, между прочим, имеется афоризм: если Бог есть, но делает вид, что Его нет, то не стоит Ему в этом препятствовать.

– А если Он шлет потом громы и молнии?

– Значит, вышел прокол с маскировкой.

– Выходит, Он все-таки есть?

– Выходит, Его слишком мало.

– Получается, надо помочь.

– Не мешало бы. Но тут мы опять возвращаемся к нашим истокам: Земля для любви приспособлена мало. Как и для самопожертвования. Хорошо, что хоть Богу прекрасно известно, что Он ни к чему не причастен. В этом и состоит Божий Промысел: быть ни к чему не причастным и осыпаться за это хвалой.

– Раньше ты в Него верила.

– А потом поняла: незачем вмешивать Бога в наши проблемы, выставя сбежавшим сообщником. У Него и так высший срок: осужденный на вечность...

* * *

Тысячи камер по городу были расставлены вот уже несколько лет, однако программу распознавания лиц внедрили лишь к февралю.

Распространителей масок поймали не всех и не сразу. Запрещенный товар скупали у мафии оптом и распродавали в подпольную розницу. Пользуясь тем, что ввоз масок в РФ подпадал под статью «контрабанда», подсутились ушлые самоделкины. Оттеснив спекулянтов, они под завязку насытили рынок своей контрафактной продукцией. Спрос на латекс многократно возрос. Потом резко упал – когда за ношение масок ввели админштраф в пятьсот минимальных окладов. Большинству потребителей наказание было не по карману, а посему «вероломные планы врагов подорвать госустой страны» потерпели фиаско.

– Говорят, намечаются обыски. А еще говорят, научились сквозь маски прочитывать лица.

– Плевать.

– Так и так ты не носишь свою.

– Наплевать.

– За полгода – ни разу.

– Отвянь.

– Я и то надевал.

– Ты герой. В микроформате. Забыл?

– Мне показалось, или ты в самом деле становишься сукой?

– Да пошел ты, ссыкло!

– Истеричка.

– Мудак.

– Психопатка.

– Ничтожество. Тряпка.

Он посмотрел на цветок, на жену и опять на цветок, на сей раз – озадаченно: Караваджо на их перебранку не отреагировал. Странно, подумал супруг.

Потом сообщил (или все же спросил?):

- Я тебя ненавижу. (?)
- А мне на тебя наплевать.
- Это мне наплевать, – буркнул он, распаляясь, но как бы с ленцой, без души. – На тебя и твои кренинизмы.
- Не забрызгай слюной лепестки, василиск недоделанный.
- Ладно. Запомни.
- Да что в тебе помнить? Давно ничего не осталось. Ты сам уже маска. Кусок негодящей резины.
- Муж зевнул.
- Черт с тобой. Оставляй, если хочешь.
- Хочу.
- Он швырнул ей свою.
- Увернулась.
- Маска шмякнулась о занавеску и, причмокнув, скатилась распоротым мячиком к плинтусу.
- Жена усмехнулась.
- Вот сейчас я и вправду ее ненавижу, подумал супруг, включил телефон, засек время, потом подождал, посчитал и проверил.
- Не так уж и долго.
- Две минуты семнадцать.
- Супруга презрительно вскинула бровь и, уткнувшись в ноутбук, промолчала.
- Две и семнадцать секунд. Столько я ненавидел.
- Негусто.
- Подумал: зато весь вспотел, хоть в тазу выжимай.
- А если найдут?
- Не найдут.
- Ну а если найдут?
- Я устала бояться.
- Я тоже, – он снова зевнул. – Только *устать* – это ведь не *перестать*. Или ты перестала бояться?
- Все, что у нас еще есть своего, это лица.
- Зачем тогда маски?
- Чтоб уберечь наши лица от слезки – хотя б на чуть-чуть.
- Почему же тогда ты...
- Боялась. Я и сейчас их боюсь. Просто очень устала.
- Я тоже.
- Пора б ей пойти на попятную, подумал мужчина, украдкой взглянув на часы.
- Если ты хочешь, порвем.
- Минута шестнадцать секунд.
- Добавив к ним двадцать, он твердо сказал:
- Не хочу.
- Но порвем?
- Я не знаю. Какой нам с них прок?
- Никакого.
- Только себя подставляем.
- Согласна.
- И ради чего? Ради дурацкой бравады!
- Я-то думала, ради сопротивления.
- Не носить, чтобы прятать?

– Прятать, чтобы носить. Не обязательно *на* голове. Можно и *в* голове. Разве нет?
– В голове – это можно. В ней можно носить что угодно. Не обязательно маску. Она-то тебе для чего?

Сверкнула недобро глазами:

– Чтобы совсем не утратить навыки прямохождения! Или, по-твоему, этого мало?

– Мы сделаем так, как ты хочешь.

– А ты так не хочешь?

– Хочу.

– Ты не хочешь!

– Хочу.

– Ты не хочешь.

– Я тряпка.

– Ты просто боишься.

– Боюсь.

Тридцать восемь секунд.

– Просто я идиотка.

– Это я просто трус.

– Если хочешь, порви.

– Ни за что.

– Хочешь, сама их порву?

– Если хочешь.

– Сколько раз повторять: не хочу!

– Успокойся! Мы их не порвем.

– Поклянись!

Он поклялся.

Она соскользнула со стула. Муж упал на колени и перехватил на лету, не дав расшибиться лицом о паркет.

Натолкавшись в объятьях, женщина влажно уткнулась мужчине в рубашку и зарыдала.

«А вот интересно, я ее точно люблю?» – думал он и старался припомнить на ощупь, как прежде, в былые эпохи, изыскалась руками их исповедальная нежность.

Ночью они на износ истязали друг друга – то ли гневливой любовью, то ли брезгливым отчаянием.

Наутро супруг обнаружил жену у дымящейся раковины.

– Так будет лучше, – сказала она.

– Достаточно было порезать.

– Мне захотелось поджечь. И я подожгла, только очень воняло. Пришлось открыть кран.

– Можешь уже закрутить.

– Не могу.

– Давай я.

– погоди. Пусть течет.

– Для чего?

– Таковы обстоятельства.

Позже она рассказала, как ее дед-профессор на старости лет обзавелся деменцией.

Это случилось на лекции: ни с того ни с сего запнулся на полуслове и стал грызть мелок. Потом снял пиджак, наслюнявил подкладку пузырчатой белью, сложил его вдвое и начал тереть, не обращая внимания на изумленные возгласы аудитории.

Постирушки прервали охранники.

Вызвали санитаров и бабу.

Из деканата его повезли к мозгоправу, а после осмотра – в больницу, где продержали профессора несколько месяцев.

– Когда он вернулся, меня к нему не подпускали...

Днем дед бывал еще ничего. По солдатской привычке вставал на рассвете, делал зарядку, пил чай с крендельком. За столом себя вел, как всегда: был неизменно опрятен и вежлив. Затем уходил в кабинет и часами читал, но сложные тексты усваивал плохо, а на простые бесился, драл в клочья страницы и знай приговаривал: «Кыш отсель, шелуха!»

К вечеру дед утомлялся, плюхался в кресло и дулся на бабку. Иногда сквернословил и порывался вклеить ей пощечину. Но самые гнусные пакости отчебучивал по ночам: то запоем во всю глотку «Дубинушку», то стащит из бара коньяк, напаялит пальто на пижаму и намылится в парк «покутить с сырым племенем», то достанет портняжные ножницы и раскромсает одеяло на спящей супруге. На ее возмущение: дескать, какого рожна, – дед прикладывал палец к губам и шептал: «Таковы, душенька, обстоятельства».

Раскидает все вещи из шкафа. «Зачем?» – «Таковы обстоятельства».

Поколотит посуду на кухне. «Да что ж это, как это?! Ты для чего?..» – «Тссс!.. – и талдычит свое: – Меня понуждают к тому, ангел мой, обстоятельства».

Врач советовал бабке ему не перечить, а то мало ли что!..

Темнота, консонируя с мраком сознания, навевала на деда морок роковых наваждений.

Как-то в четыре утра старушка нашла экс-профессора мирно урчащим у кухонной раковины с напиханной кипой бумаг, на которые лилась потоком вода. Обернувшись с лукавой улыбкой, дед пробормотал: «Прав был Михал Афанасьич: они не горят. Наипаче – никчемные».

– Так он «сжег» свои рукописи. Целую грудку обшарпанных папок – его *завещание пытливым потомкам*. «Испепелил» в костре слабоумия столь любимую маску всезнайки. В этой вот самой облупленной раковине... Приобретенная глупость хуже врожденной: с первой теряешь достоинство, со второй его даже не ищешь... Вынеси мусор, пожалуйста.

* * *

К августу дом задрожал и наполнился дребезгом. Казалось, что стены сверлят с четырех сторон сразу и вдобавок на всех этажах. От адского шума ремонтных работ было впору рехнуться.

Долбеж начинался уже с полвосьмого утра и не прекращался до вечера.

Чтоб оградить Невозможку, прикупили литой куполок из стекла и подвели под него портативный компрессор.

– Это то, что я думаю?

– Думаю, да.

Опасаясь прослушки, уговорились использовать местоимения в третьем лице.

– Ну и как он?

– Пойдет. Только проблемы со сном.

– Надо же! И у нее.

Или:

– У него на работе все норм?

– Более-менее. А у нее?

– Ковыряется дни напролет в лабудени.

– Хорошо б им обоим смотаться на дачу.

– Будто она у них есть!

– Дача есть у друзей.

– А они у них есть?

- Да кто их теперь разберет. Может, кто-то и есть.
- Никого у них нет.
- Кроме ляльки.
- Точно! Кроме ребенка.
- И это немало.
- Еще как немало.

Эзопов язык выручал не всегда. Из-за хронического недосыпа женщина часто бывала не в духе, постоянно сетовала на мигрень, раздражалась по всякому поводу и распекала супруга без конспираторских иносказаний – на ты:

- Думай потише! Мешаешь заснуть.

Или:

– Сколько можно не двигаться! Лежу, словно с трупом. Как мне заснуть, когда рядом труп?

За завтраком хмуро делились:

- Во сне она стонет.
- А он – как не дышит.

* * *

Однажды во время планерки муж понял, что заикается мыслями. За каждым немолвленным слогом ютились десятки стреноженных слов, готовых в мгновение ока сорвать ненавистные путы и ринуться вскачь, унести врассыпную по вольным рискованным тропам и погубить оседлавшего их верхового. Страх невзначай сболтнуть вслух крамолу был в нем столь силен, что неделю спустя на летучку мужчина пришел с перевязанным горлом.

- Ангина? – спросил, отшатнувшись, Архипов.

Он виновато кивнул.

- Шел бы ты, парень, домой.

Он пошел. И размышлял по дороге о том, что давненько не слышал в курилке, чтобы шефа упоминали по кличке – Архивов. Кажется, даже еще пожалел, что корпоративная трусость изъела из оборота отменное погонялово.

В вагоне метро было нечем дышать. Стоя вложенным, точно сосиска в хот-дог, между тощей мегерой с колючим мешком и хмельным бегемотом в подтяжках, он вспомнил, что сам и придумал то прозвище.

С перепугу его замутило. Он продрался к дверям и весь перегон давился блевотиной, чтоб изрыгнуть ее в урну на остановке у мраморного столба.

Ощущая противную горечь во рту и терпкую жажду, подумал: «Я тряпка. А ведь когда-то был парусом».

На улице выпил купленной в будке воды, и его опять вывернуло.

«Значит, жажде моей нужна не вода».

Тут его осенило, что ей нужна правда. Ибо тошнило его от всего остального.

Добравшись до скверика в паре кварталов от дома, присел на скамейку и стал слушать птиц.

Вот бы так и сидеть, и дышать. Полудрекать, полудумать, полусуществовать. Не трястись, не вздрагивать и не замирать. Не ужиматься. Распрямиться и сметь. Дерзать, ошибаться, кричать. Любить, ненавидеть, мечтать. Плыть, смаковать, безмятежиться...

Снова глотнул из бутылки. Вода на сей раз была честной и вкусной, как правда.

Я сижу здесь, и мне в кои веки не стыдно, думал он, наслаждаясь водой, тишиной и почти-одиначеством.

От бестревожной неподвижности в голове прояснилось, и он вывел формулу: правда есть поиски собственной совести. Ложь – лишь иллюзия того, что вы правду уже обрели и что она вам тесна. Как-то так...

Мысль ему очень понравилась, и он разрешил себе выстлать ее продолжение.

Правде нельзя жить без совести. Точка. Дальше, о совести, – с красной строки.

Возможно, темница души?

Скорее, увивший темницу терновник. Ни прислониться, ни встать в полный рост: гнетет, донимает и колет по всякому поводу. Совесть лишь бы придраться. Неудивительно, что миллиарды людей предпочитают ей веру: в вере есть иерархия, а значит, поощрение бессовестности. *Жертвует малым во имя великого* – запатентованный единобожием кунштюк. *Как бы я плохо ни поступал с точки зрения совести, я делаю это во благо великого таинства веры*. Вот они, плутни увертливых душ. На таких страгатагах и зиждется преуспеяние клириков.

А если Бог все-таки есть, что тогда? Тошнота?

Слишком кондово. Почти архаично. Надо б состряпать сентенцию поостроумнее...

Он сомкнул веки и попытался отречься от тела, от ветра, от солнца, от жажды, от птиц, от любых притяжений, чтоб воспринять трансцендентность, но вместо нее воспринял лишь свою приземленность, мирскую тугую телесность.

«Я раб гравитации. Бог – ее враг. Только какой мне прибыток с его левитаций?»

Внезапно его озарило: если Бог есть, то Он тот, Кому хуже всех. Но хуже, чем нам, может быть лишь в теории. Получается, Бог только там на сегодня и водится. Пребывай Он в реальности, это бы означало одно: что характер Его безнадежно испортился.

* * *

Покуда буравили стены, супруги могли говорить что ни попадя. От inferнального скрежета в них просыпался спортивный азарт: покричать в полный голос было и смело, и пьяно, и весело.

Стоило грохоту смолкнуть, как оба опять возвращались к шифровкам.

– У нее ноет зуб.

– Снова кариес?

– Разболелся зуб мудрости. Хочет его удалить.

– Не нужно спешить. Пусть потерпит.

– И сколько прикажешь терпеть? До пришествия третьей Луны?

– До сошествия первой во гроб.

– Да она сама раньше помрет.

– Ничего не помрет. Может жевать и другой стороной. Там же меньше болит?

– У нее там запущенный пародонтоз.

– Не такой и запущенный.

– Много ты понимаешь!

– Много она понимает!

А говорили они приблизительно вот о чем.

ОНА: Как я устала от этих бумагомарак! Раньше давали заказы на книги, теперь – на книжонки.

ОН: Узнаю свою королеву. Растравляешь депрессию по пустякам.

ОНА: *По пустякам?! У меня мозги набекрень*. Не желаю возиться с коммерческим хламом. За полгода – семнадцатый кряду роман для невежд, дикарей и дебилов.

ОН: Не делай из мухи слона. Пописывай что-то свое – в качестве противоядия. А для дебилов переводы в промежутках.

ОНА: Ты не улавливаешь: я измельчала. Роюсь и роюсь, как шавка в помоях, в голимой макулатуре. Оттого и сама деградирую. Я почти разлагаюсь.

ОН: Нюнить завязывай. Тоже мне – горе!левой ногой накалякать халтурку за щедрое вознаграждение. Отстрелялась за пару часов и пиши себе Литературу.

ОНА: Да какое там – литература! Я примитивная бездарь.

ОН: Брось приbedняться, не умаляй свой талант.

ОНА: Много ты понимаешь! Дай-ка я объясню про талант: одно дело – писать о том, о чем болит душа, и совсем другое – о чем скулит душонка. Так вот, у меня не душа, а душонка.

ОН: Не подозревал у тебя столь заниженной самооценки.

ОНА: Считай, что это повышенный иммунитет на вульгарную лесть. Жаль, что к нему прилагается рвотный рефлекс на халтуру. Я хочу от нее отказаться.

ОН: Не нужно спешить. Потерпи.

ОНА: И сколько прикажешь терпеть? До пришествия Третьего Времени?

ОН: До сошествия первого в гроб.

ОНА: Я сама помру раньше.

ОН: Пиши. Ну хотя бы попробуй.

ОНА: Противно. Мне даже противно читать.

ОН: Не выдумывай.

ОНА: Честное слово! Что ни тронешь – все фальшь. Книги, музыка, живопись – фальшь. Мы настолько фальшивы, что делаем фальшью искусство, стоит лишь нам на него посмотреть.

ОН: На, открой.

ОНА: Не хочу.

ОН: Твой любимый художник.

ОНА: Убийца!

ОН: Зря, что ли, он создает из убийств красоту? Открывай.

ОНА: Иногда я его ненавижу.

ОН: Это еще почему?

ОНА: Он талант, а я бездарь.

ОН: Много ты понимаешь! Мундик творит, убивая подручное зло. Вот и ты научись.

ОНА: Легко говорить!

ОН: Выпусти бабочек. Тех, что внутри.

ОНА: Хорошо. Я попробую.

* * *

Чтоб услужить продырявленным стенам, практиковали игру в «Посмеемся». Чаше дру-гого смеялись над Штатами:

– Я тебе скинул сноску, читала?

– Нет еще, погоди... На кой ляд мне кремация в Калифорнии?

– Посмотри там в подвале расценки. Заодно с погребением в общей могиле – восемь тысяч «зеленых».

– Ни фига себе! А если отдельная урна – пятнадцать.

– И почти столько же – роды.

– Потому что родиться толпой невозможно.

– Страна, где ты вечно в долгах.

– От рождения до смерти.

– И даже посмертно должник.

– Это если не бомж.

– Это если не бомж.

- Бомжей жгут бесплатно.
- Сердобольно!
- Смешно.
- Смешней некуда.
- Ну и где у них совесть, скажи?
- Вероятно, под мышкой. Там удобнее чешется.
- Совесть?
- Она не болит. В лучшем случае – чешется.
- Результат эволюции? Очень смешно.
- Было ли что-то у них отвратительней этой игры?
- Может, и не было. Но, с другой стороны, ведь и вправду – смешно!

* * *

Потом началась эпидемия, и стало так страшно, что мало-помалу затмило их прежние страхи: раньше было про жизнь – не про смерть.

– Вот и дошли мы до точки. Теперь уж как пить дать подохнем, – твердила жена.

Ни тени отчаяния в голосе – лишь флегматичное, мстительное удовлетворение.

– Знаешь, что с точкой не так? Прежде чем до нее доберешься, успевает размножиться в многоточие. Не торопи события. Может, еще и проскочим.

Карантин объявили на месяц, затем продлевали еще и еще. Выходить разрешалось три раза в неделю, но лишь за продуктами или в аптеку. Так дезинфекция города обернулась очисткой столицы от жителей.

Людам это не нравилось.

Люди с этим мирились.

Люди смирились со всем, кроме голода. Но поскольку голод пока не свирепствовал, робко скребли по сусякам и смиренно молились о том, чтобы не было голода.

Впрочем, бюджетникам он не грозил: им начисляли зарплату на карты день в день. Не ходить в госархив за свою же получку было довольно забавно. И не стыдно ни капельки.

В остальном время шло, как всегда: текла нефть, возводились дворцы и заборы, полыхали бесхозно леса, разливались запойные реки, сиротели деревни, дрябли сердца, молодились вампиры, скудели пайки, солонели напрасные слезы. Время шло, как стояло. Стояло, но шло...

* * *

Запертые в квартире, супруги наблюдали с балкона за улицей, по которой шныряли рыжие, в тон кирпича с кремлевской стены, каски спецназа. Под сентябрьским привянувшим солнцем щиты и забрала тускло поблескивали, панцири пучились жучьими латами, а стволы и дубинки усато топорщились, отчего отряд «космонавтов» походил на ватагу сноровистых членистоногих. Отловив нарушителей, бойцы паковали смутьянов в плоскомордый автобус с зарешеченными прозорами.

(*Тараканья страна*, как говаривал старый пират-мизантроп.)

– Снова бросили бомбочку. Ай, молодцы!

– Селедка, – заметил мужчина, – позавчера – помидоры.

– Откуда-то сверху?

– Наверно. Если б под нами, мы бы увидели.

Этажей было двадцать, жили они на седьмом.

– Может, с крыши?

– Навряд ли. Из окна безопасней: кинул, пока долетело – закрыл и сиди себе в тапочках, смейся.

– А на что тогда камеры?

– Они надзирают за тем, что внизу. Мы для верхов – это низ.

– Если так, то метание селетки – наша им карнавальная отповедь. Ты же читал Бахтина?

– Про полифонию Боккаччо?

– Полифония – это о Достоевском. Да и Боккаччо совсем не Боккаччо – Рабле.

– Ах вот оно что! Я и не знал, что Гаргантюэль и пан Фуагра карнавалили.

Ткнула в бок, отпихнула и втиснулась в комнату.

Мужчина поморщился: лучше б еще переждать, чтоб росгвардейцы на нас не подумали. Если не прячешься, вроде как ты ни при чем.

Он постоял минут пять, докурил и зашел.

Женщина полулежала в кресле, отвернувшись к торшеру и закинув ногу на подлокотник. Она нервно хлопала тапком о пятку и теребила кудряшку, словно вязала из локона спицами ровно такой же кокористый локон.

И поза, и тапок, и спицы – верные признаки явной досады.

Муж приобнял за плечи, погладил тугое бедро и клюнул в душистые волосы.

– Ну, чего дуемся?

– Ты эгоист. Все испортил. В кои-то веки меня посетила какая-то здравая мысль!

Снял куртку, разулся, прошлепал на кухню и через минуту нарисовался в проеме с бокалами.

– Сейчас эгоист все исправит.

Отхлебнули вина.

Он свернул в узкий конус салфетку и, напялив колпак, скорчил рожу:

– На арлекина похож?

– Ты похож на балбеса.

– А ты – на супругу балбеса. Давай просвещай.

Допив шардоне, она села, смахнула с макушки мужчины колпак, раскатала салфетку и положила квадратом на скатерть, затем положила бокал ободком на салфетку.

– Карнавал – это мир наизнанку. Маскарадные шествия, где верх и низ меняются местами: лицо становится задом, а сам зад – передом. Здесь все сикось-накось, шиворот-навыворот. Символически знаменует восстание хаоса против незыблемости опостылевшего порядка, опрокидывание догм и устоев. Видел шута, расхаживающего на руках, подпрыгивая башмаками с бубенчиками? В таком вот ключе свистопляска, упраздняющая иерархию и пародийно подменяющую социальную субординацию на диаметрально противоположные полюса. В итоге шут объявляется королем.

– А богохульник – епископом.

– Ты меня обманул. Все ты знаешь, историк!

– Я не знаю, а узнаю что забыл. Продолжай.

– Шиш тебе.

– Смеховая культура, трикстер и профанация. Попойки блудливой амбивалентности, в чем похотливом уместом лоне трагичность сливается в общем экстазе с комичностью... Так?

– Не скажу.

– А еще поругание смерти повальным распутством и плясками. Смерть ведь не очень и смерть?.. Ну же, бахтинка, не вредничай!

– Для карнавала она не фатальна: эдакое уморительное страшилище, к тому же чреватое.

– Сколько бы пугало это ни пыжилось, а все равно лопнет брюхом, из которого выпрыгнет новая жизнь.

– Ибо суть карнавала есть возрождение мира, его обновление.

- Репарка из зала: обновление на рубеже катастрофы.
- Карнавал – это весело там, где вчера было жутко.
- Помидор и селедка на рыжей броне!
- Самое главное – смех. Нам ведь было смешно?
- Не так, чтоб до колик.
- Дальше будет смешнее.
- Если ребят не поймают.
- Их не поймают. Налей-ка еще.

Она осушила бокал в два глотка и сказала:

- Жаль, скоро сдохнем. Хорошо б перед тем насмеяться... Блин, меня развезло. Я пьяна. Откинулась в кресле, закрыла глаза и спросила:
- Ты бы с чем это свинство сравнил – нашу жизнь?

Мужчина допил, водрузил фужер на край стола, ухватил промежьем пальцев стеклянный стебелек и подвигал донышком влево-вправо, словно скользил им по льду над обрывом.

- Тараканы, подшитые бабочки... Долбаный Кафка с Набоковым.
- Ух ты! Неплохо... А у тебя есть кошмар? Свой, персональный кошмар?
- Сомневаюсь.

– Могу поделиться парой прелестных кошмариков. Как тебе вот такой? Снится, будто звонишь кому-то по телефону, а он не снимает проклятую трубку. И даже автоответчик не включится. Одни только пип, пип, пип.

- И кому ты звонишь?
- Хоть кому. Или всем. Да без разницы!
- Как-нибудь мне позвони. Я отвечу.

– А еще часто снится, будто я ковыляю за собственной тенью. Таскаюсь за ней от рассвета и до почти темноты, целый день напролет, то срываюсь на бег, то крадусь, выбиваюсь из сил, натираю мозоли, зову, умоляю, а тень все плывет и плывет, как ни в чем не бывало.

- И чему тут расстраиваться?
- Она даже не укорачивается.
- Смотри позитивно: вдруг тень не тает из-за того, что ты посекундно растешь!
- Ну а солнце? Полсуток торчит за спиной?
- Почему бы и нет? Если идти по параболе...

– По-любому – метафора, – отмахнулась она. – *Две метафоры тщетной, пропащей и неприкаянной жизни. Звонишь и звонишь, идешь и идешь, но абонент все молчит, а сама ты и с места не сдвинулась. Поэтичная аллегория обреченности...* Боже мой, я совсем в растюю. Спать хочу.

- Так поспи.
- Не хочу. Когда я вдрабадан, в голове черт-те что. Стопроцентно приснится кошмар. Она распахнула глаза, подтянула колени к груди и посмотрела с тревогой на мужа:
- Снова нахлынуло.
- Что?

- То самое чувство. Стоит подумать чуть в сторону, и оно накрывает...
- *Чуть в сторону?*

– Разве не странно, скажи, что ожидание этого мига длилось тысячи лет? Ты только представь: сотни предков беспамятно сгинули ради того, чтобы я лепетала здесь спяну нелепости. Прямо мурашки по телу... – Глаза округлились и густо наполнились ужасом. Ужас мутнел и струился слезами по бледным щекам. – Хорошо, что у нас нет детей.

Она задрожала. Пытаясь подняться, задела бокал, уронила, снова рухнула в кресло и стала ругаться.

Муж ей не препятствовал. Лишь удивился, что матерится она компетентно и изобретательно.

Он собрал с пола осколки, вынес на кухню посуду и мусор, покурив в открытую форточку, а когда жена замолчала, вернулся на цыпочках в зал.

– Я не сплю, – сказала она и заснула.

Мужчина смотрел на нее и жалел – не ее, а себя. Потом задремал и не сразу заметил, что супруга уже пробудилась.

– Что тебе снилось?

– Победа. – Она улыбалась – вызывающе, жадно и вместе с тем как-то потерянно, траурно, *неизлечимо*. – Мы напились в дымину. Сидим и смеемся, бухие в дрова. Наш смех оглушителен, зычен, как гром, и заполняет раскатистым гулом всю комнату. Смеха так много, что он распирает пространство и пускает по стенам гремучие трещины, а он все растет и растет, растет и растет, изнутри разрывая нам легкие. Чтобы не разорваться от смеха, мы с тобою бежим на балкон и, вцепившись в перила, выплескиваем хохот рвотой на шмакодявок, хлопочущих возле автобуса. И ничего не боимся. Потому что наш смех – это щит. И даже не щит. Он карающая булава, которой мы, как орехи щипцами, колем их рыжие каски, эти ржавые скорлупки, начиненные злобой и жлобской напыщенной глупостью. Восстав хаосом смеха против гнилого порядка, мы торжествуем, и смех наш – оружие. Идеальное средство возмездия за все насекомые годы, за изувеченные, струсившие мечты, за наше предательство каждой минуты от растраниженной нами любви, за ползки по-пластунски под их ненавистные марши, за то, что они исковеркали жизнь и превратили ее в невозможку, за то, наконец, что мы были не мы, а пародия нас...

Она поперхнулась восторгом, взывала придушенно и разревелась.

«Жизнь – невозможка. Какой точный сон! – размышлял огорошенный муж, подавая ей воду. – Та тоже питается гадостью и из кожи вон лезет, чтобы создать хоть какую-то красоту. Только, сдастся мне, наша уже разучилась».

* * *

Кроме множества минусов, у карантина имелось одно преимущество: угроза погибнуть от заражения вирусом все иные проблемы сводила к нулю, в том числе и напруги с прослушкой.

Говорили в квартире теперь без опаски. Вот только слова оказались просрочены. В них будто вселилось прошедшее время. Прошедшее – не прожитое...

Мы опоздали, думал мужчина. Каждый из нас опоздал сам к себе. Оттого и живем в сослагательном наклонении: *был бы, стал бы, сказал бы, хотел бы*. А впереди – твоя тень, которой уже под тебя никогда не сточиться, потому что белесое солнце застыло плевком у тебя за спиной.

* * *

Поработив земной шар, пандемия шутя поделила людей на два типа. На тех, кто считал: «неплохо, что плохо везде», и на тех, для кого «то, что плохо везде, это плохо».

К какой из подгрупп отнести им себя, супруги не знали. По правде, им было начхать. Лишь санитарный дружинник по дому не проявлял безразличия к судьбе и, разыграв аппетитом, вовсю лопал мух.

– Хомячит в режиме 24/7. Прямо прорва какая-то. Не напасешься.

– Уничтожает носителей вируса. Пусть.

– У него от обжорства клешни огрубели. Ощетинился, как порося!

– Он всего лишь взрослеет.

- И рисует не так, как всегда.
- Ты чего до него докопался? Вполне адекватная живопись. Быть может, мазки стали шире, зато экспрессивнее.
- Малюет тятп-ляп за тятп-ляпом.
- Не придирайся. Он в творческом поиске.
- Твой Караваджо зажрался.
- Сытый художник – успешный художник.
- Муж предъявил ей альбом.
- Если ты скажешь, что это красиво...
- Как по мне, симпатично.
- Красиво – вот это!
- Красиво здесь все.
- Пачкотня!
- Реализм.
- Не надоело стебаться?
- Я совершенно серьезно.
- Он же рисует уродство!
- Уродство.
- И это красиво?
- Правдиво. Он воплощает недостижимость.
- Недостижимость чего?
- Красоты, устремлений, любви. Наш питомец вырастет.
- Он гонит фуфло.
- Или пытается выразить исчезновение подлинного.
- А раньше он что выражал?
- Его лебединую песню.

* * *

- Мужчину цветок не простил.
- Он меня цапнул! До крови, стервец, прокусил.
- Показал ей: ладонь под фалангой с обеих сторон усыпана алыми точками. Будто игольчатый валик прошелся.
- Поковырявшись пинцетом, жена обработала рану и наложила повязку.
- Мундик и сам пострадал: пара щетинок застряла под кожей. Пойду на него посмотрю.
 - Кто питается смертью, сам да в смерть обратится! Так змеенышу и передай.
 - Может, и ты тогда умер?
- Ехидство его уязвило.
- Ладно тебе, не грузись, – обернулась жена. – Подохнем мы вместе.
- И он вдруг подумал: не врет.
- Он даже не может представить себе, до чего я не вру, подумала женщина и склонилась к цветку с толстой лупой.

* * *

- Когда вирус добрался до них, они вызвали «Скорую». Та добиралась до них восемь дней – почти столько же, сколько сам вирус.
- Когда вирус настиг их, мужчина подумал: третьего времени нет. А те два, что есть, склеены в петельку Мебиуса: геометрический трюк, при котором стороны скрученной ленты сочле-

няются сгибом в одну. Всего-то и нужно – перевернуть край какой-либо грани и прислонить ко второму. Так же и здесь. По-другому никак не понять, как зараза проникла к ним в дом: медицинские маски, дистанция и обмывание рук спиртотрактором – рекомендации соблюдались неукоснительно. Рядом никто не чихал и не кашлял. Мухи? Едва ли. Для мух у них были пинцет и перчатки. А вот для времени – нет.

Когда просочился в квартиру губительный вирус, супруга сказала:

– Мне трудно дышать. Это он.

– Нам давно уже трудно дышать, – успокоил мужчина. – Ты хоть помнишь, когда мы дышали не трудно?

– Как знаешь, – сказала она. – Хрен редьки не слаще.

В дождь дышать было легче. Восемь дней кряду, пока они ждали врача, в Москве шли дожди.

Когда к ним приехала «Скорая», было уже слишком поздно. Пряча глаза за окошком защитного шлема, терапевт в герметичном скафандре предложил обоим доставить в больницу.

Они уклонились.

– Можем сделать укол.

– Не хотите цветок? – спросила жена. – Экземпляр замечательный. Три в одном: мухоловка, красавец, художник.

Врач и медбрат отказались.

– Старайтесь лежать вниз лицом. Так дышать будет проще.

Жена пошутила:

– Вниз лицом – это даже привычней.

– Вызывайте опять, если что.

Муж хохотнул и закашлялся.

– А вот смеяться я вам не советую! – буркнул доктор, оставив коробочку ампул.

Когда вирус почти их убил, супруга сказала:

– Придется звонить толстяку. Телефончик остался?

– Сейчас поищу.

Пират на звонок не ответил.

А может, мужчине оно примерещилось – и звонок, и внезапная просьба жены, и свое наваждение цветком.

Чем дальше, тем чаще теряли сознание. Главное – восемь секунд, думал муж, когда еще думал, что думает. Но додумать про восемь секунд он ни разу не смог.

Было нечем дышать, но они все дышали. И до последнего дня опекали питомца: пульверизатор, пинцет, цокотухи... (Можно уже без перчаток.) Было только неясно, совершалось ли это в воображении или наяву.

Когда вирусом были покрошены в месиво легкие, женщина пробормотала:

– Вот и закончилась наша с тобой невозможка.

Муж потянулся, чтоб взять ее за руку, и, взлетая над миром, тащил и тащил, сколько мог, за собой. А потом захлебнулся простором и умер.

Перед смертью жена содрогнулась, открыла глаза, но ничего не увидела: ни цветка, ни лежавшего навзничь холодного мужа, ни оконного света, ни мысли и ни просветления.

Их избавление было той точкой, в которой история и время сошлись.

Когда вирус убил злополучных хозяев, Невозможка враспах отворилась узорами глянцевых бабочек, ни одна из которых не ведала в жизни ни истинных крыльев, ни райской тревоги полета.

Пловдив, 21 июня 2020

II

Пять коротких рассказов про очень короткую жизнь

Остров воздуха

Вообразите апрель, который лишь пахнет сиренью, но весны с собой не принес. Вообразите полет, который забыл нацепить свои крылья и, взлетев, превратился в падение. Вообразите падение, в котором остался еще хоть какой-то полет – и тогда вы увидите время, в котором сегодня живете: без весны, без надежды, без крыльев. И даже без слез.

Георг Нейм. Руководство по суициду для избранных

Во сне он летал и, летая, вдруг понял, что все не во сне было лишь подготовкой к полету.

– Не передумала? – спросил он жену, поняв по лопаткам, что тоже проснулась. Лежала на левом боку и тихонько вязала пальцами время: стежок за стежком рисовала тенью крючки на стене и сочиняла из них зверушек и рожицы. Те и другие были похожи на серые фрески исчезновения.

– Наоборот. – Она обернулась, подставила губы. Они пахли ночью и легкой, ленивой слезой. – Еще больше надумала. Ближе к трем опять повторилось. Ты не заметил?

– Я спал как убитый.

Соврал: к трем часам ночи его трясло так, что едва не скатился с кровати. Только к утру он заснул и летал, оторвавшись от тряской земли. Вот почему он летал – чтоб оторваться от этой земли, которая с каждым настигнутым днем дрожала под ними все больше, все глубже, утробней, отзываясь под ребрами нудным печеночным гулом. Затем дрожь исчезала – столь же нечаянно, как нападала – и заставляла в себя не поверить.

Чтобы не верить в нее, им приходилось смеяться.

В дверь заскреблись.

– Жалко его. Как-то стыдно сегодня... Впусти.

Пес вскочил на кровать и взялся лизать ей затылок. Жена отбивалась, пряча в подушку лицо, и смеялась – ненасытно, взахлеб. Мужчина тянул пса за лапы и рычал ему в ухо.

– Уймись, – взмолилась она. – Или я задохнусь.

Солнце уткнулось макушкой в оконную раму и подлило утра через подслеповатые стекла. Утро было сиреневым, свежим – апрель. Обессилен от шумной возни и навзрыд усмиряя дыхание, супруги валялись на кочках постели. Скинутый на пол, пес блаженно храпел на ковре.

– Кофе?

– Я или ты?

Выбросил ножницы. Ответила камнем.

Мужчина поплелся на кухню.

Когда он вернулся, смотрела еще в потолок и опоздала с улыбкой.

– Не поздно еще отменить. Если ты передумала...

– Может, ты сам передумал?

Впервые за утро поглядела прямо в глаза.

– Да пошли они в жопу.

– Вприпрыжку, – кивнула она.

Опять посмеялись. На душе у обоих стало светло и расплывчато, словно в окне. И так же свежо – от стоящей на тумбе сирени.

Пока жена выгуливала собаку, он сходил на стоянку и подогнал к подъезду машину.

– И как эту сволочь зовут?

– «Секвойя». Японец.

– Слишком большой для японца.

– По мне – в самый раз. Если подумать, сколько нам задолжали...

Нажимая на разные кнопки и хохоча от восторга, они покатались по улицам, а как надоело, выбрались на проспект.

– Ты ловкач еще тот!

– Чистый фарт: у босса брелок торчал из кармана. Сам в руки просился.

– Надолго уехал твой шеф?

– На целую вечность: два дня.

– Будешь гнать, весь фарт свой профукаешь. Забыл про посты?

Он сбавил скорость. Жена напевала под радио и отстраняла плечом любопытный нос пса, выгребая из бардачка конфетно-аптечный хлам.

– Ого! – вдруг сказала она.

– Ненастоящий, – отозвался мужчина, повертев пистолет на ладони. – Но по виду не отличишь. Пригодится. Спрячь в сумку.

Она почесала в затылке стволом.

– А вот, например, ты мечтал кого-нибудь пристрелить?

Пожал равнодушно плечами:

– Было дело, мечтал банк ограбить. Или угнать самолет на Балеарские острова. Местечко там есть, Остров Воздуха называется.

– Почему?

– Название такое? А хрен его знает. Но, наверно, не зря.

– Наверно, не зря, – повторила она, поразмыслив. – А отчего перестал?

– Мечтать? Повзрослел. Поумнел. Отупел.

– Не совсем. Успел спохватиться. Еще немного – и сделался б умником. Не заметил бы сам, как вконец отупел. У умников это в крови. – Она притулилась к нему и потерлась лицом о рукав. – Я закурю?

Он не любил сигарет, но сейчас запах дыма ему даже нравился: вместо привычной угрозы он источал аромат, наводивший на мысли о чем-то простом, несерьезном – босоногой беспечности, ветреных тайнах, костре, мокром сене, брыкливых косичках и оголтелом, хмельном сумасбродстве, с которым он лазал когда-то к кому-то в окно.

Интересно, куда убегают от нас все те чудачки, кем мы были, пока доверяли себе и готовились стать не собою? Туда же, должно быть, куда утекает по капле с годами душа...

Ему сделалось грустно, но грусть была теплой и сладкой, как пряник. Было приятно грустить и смотреть на дорогу, следя краем глаза за лепестками дымка.

Докурив, женщина задремала. Муж приглушил верещанье приемника и поглядел на часы. Все шло четко по графику, как будто они поступали так тысячу раз. Ни единой заминки в дороге, ни единого сбоя в эмоциях или предчувствиях. Это его утешало. По крайней мере, руки уже не тряслись. Да и ход у «японца» был гладкий. И гладкий асфальт. Сбоку – гладкое солнце на отглаженном облаком небе. Ни дать ни взять гладкий день на гладкой планете, пропади она пропадом!

– Не вздумай разнюниться, – предупредил он жену, когда подъехали к одноэтажному дому на окраине города.

Используя зеркальце заднего вида, она причесалась, подкрасила губы и подобрала, подладив под радость, глаза:

– Я в порядке. Сам смотри не взорвись.

Оставив родителям пса, они попрощались и заспешили обратно к машине.

– Не поверили, – хмуро сказала она, прежде чем в голос расплакаться. – Я так им правдиво врала, а они не поверили. Они никогда мне не верили.

– И мы бы не верили, будь у нас дети. – Он швырнул свой мобильник в окно.

– Мы бы как раз таки верили.

– Наплюй. Или ты передумала?

Она вытерла слезы:

– Ты мне тоже не веришь?

Опустила стекло и метнула в курсив из дорожных столбов золотистую «Нокию».

– Ладно, прости, – сказал муж. – Достань карту.

– Там вон – налево. Потом до шлагбаума. Но если ты сам передумал...

Он свернул на обочину, затормозил и поцеловал ее в губы.

На площадке стоял лишь один самолет. Он был меньше, чем те самолеты, что они когда-либо видели, и, уж конечно, был он поменьше их страха.

Муж солгал, что они уже прыгали, но всего пару раз и давно. Пройдя инструктаж, они влезли по трапу и уселись внутри на скамейку. Компанию им составляли еще пять горбунов – трое парней и две девушки. Один незнакомец был бледен, как кость, и норовил пошутить. Остальные вели себя так, будто присели рядком по нужде – небольшая заминка, после которой они разбредутся и больше не вспомнят друг друга. Похоже, из близких людей здесь только мы, удивился мужчина. Потом рассудил, что нормально: ближе них никого в мире не было, а сегодня и быть не могло.

Он должен был прыгать последним, но перед люком жена вдруг уперлась и стала визжать. Инструктор пытался спихнуть, но он не позволил и держал ее крепко-прекрепко, так крепко, что, когда она, пятясь, поехала пяткой по полу, упал вместе с ней и помог откатиться к скамье.

– Ничего, – успокаивал он, снова сидя в машине. – Разве это полет? С парашютом – еще не полет. Так... обманка.

– Я себе представляла: подо мной будет небо, а оказалось – земля. Вот что меня сбило с толку – треклятая прорва земли. И она так дрожала!

– У меня самого поджилки тряслись. Оттого я в тебя и вцепился.

Обняла благодарно за плечи.

– Проголодалась. От страха, наверно. Прямо дыра в животе.

Перекусили в кафе по дороге.

– Как-то странно, – сказала она, – есть сегодня обычную пищу.

– Ничего, наворачиваем за ужином.

У торгового центра на паркинге легко отыскивали свободное место. Им как будто бы снова везло.

– Выбери тех, кто нам задолжал больше всех, и ни в чем себе не отказывай.

– Карточка не подведет?

– Обижаешь.

Должниками их оказались Донна Каран, Бриони и Хьюго Босс. Облачившись в наряды, пара забралась в «секвойю» и покатила в отель.

– У нас нет багажа, – забеспокоилась женщина. – Надо было купить чемодан. Не понесешь же туда эту рвань.

Он скосил взгляд на зеркальце и нашарил глазами рюкзак, в который они, непонятно зачем, запихали все старые вещи.

– Возвращаться не будем. Прорвемся.

– У вас нет багажа? – заколебался администратор.

– Задержался в Брюсселе. Доставят к утру, – сердито ответил мужчина. – Куда хуже, что занят ваш съют.

– Ключ от вашей машины, – протянул руку бой.

– Ключ от вашего номера. Люкс у нас тоже хорош.

Администратор не обманул: номер был высший класс. Наскакавшись от радости, женщина скинула платье и нырнула в джакузи. Мужчина опробовал мини-бар и теперь, попивая коньяк, обозревал с балкона измельчавший, расхристанный город, теряясь в догадках, плюнуть в него или нет.

– Чем ты там занят? – крикнула женщина, сметая с постели парчу покрывала.

– Возвышаюсь над миром.

– Твой мир – это я. Марш возвышаться сюда!

Они занимались любовью сперва очень нежно, потом жадно и истово, словно боясь не поспеть, задолжать еще и себе, разминуться в последний момент на натянутой в нерв ненадежной струне.

Когда все обошлось, женщина перекатилась на живот и уложила голову на пах мужчине.

– Дай послушать. Не двигайся. Это как прильнуть к пуповине. Понимаешь, о чем я?

– Припадаем к истокам?

Второй раз дался им быстрее и лучше.

– Чем тебе не полет? – спросил он, отдышавшись.

– После такого полета не страшно любое падение. – Уже поднялась и рылась в своей новой сумке. – Вот раззява! Наверно, остался в машине.

– На фига тебе пистолет?

– Видела банк на углу.

– Не дури, – отмахнулся мужчина. – Нас в два счета пристрелят. Да и отвык я от этой мечты.

Она не сдавалась:

– А как насчет Острова Воздуха?

– Нереально. Пояжат. Отберут нашу пукалку – и никакого полета.

Рассеянно фыркнув, жена принялась одеваться. Она была очень красива. Сиреневый цвет, отметил мужчина. А я и не знал, что он ей к лицу. Вспомнил то утро, окно и апрель и сделал усилие, чтобы не вспомнить собаку.

В вестибюле они разделились: он пошел в казино, а супруга отправилась в спа.

Встретились снова спустя два часа.

– Меня столько мяли, ваяли, купали, сушили и гладили, что я ощущаю себя марципаном с глазурью. А что у тебя?

– Выиграл, выиграл и проиграл. Банк бы сорвал, кабы сам не сорвался на прикупе... Я вчистую продулся.

– Значит, и дальше идем налегке?

– На роду если писано...

– А по-моему, здорово: кого ты найдешь на всем белом свете, кто бы в пух проигрался и плевать на это хотел? А тебе наплевать, по глазам твоим видно. Ты же был там с такими глазами? Ну и ладно. Что у нас дальше по плану?

– В списке значится праздничный ужин. Опробуем их ресторан?

Заказали фондю, рагу из грибов и телятину.

– А дичь? – вспомнил он.

– Чуть не забыла. Будьте добры, куропатку в вишневом соусе. А господину...

– Перепелку под фуа-гра.

Официант поклонился и сделал движение к кухне.

– Минутку. Могу я задать вам личный вопрос?

– Не начинай, – нахмурился муж. – Не обращайтесь внимания, дама просто дурачится.

Дама капризно захныкала:

– Ну пожалуйста! Ради нашего праздника. Последний разочек.

Она чмокнула мужа в висок и, захлопав ресницами, изобразила невинность:

– Молодой человек, а скажите, у вас тут не очень трясет?

– Виноват? – напрягся официант.

– Вы только так не волнуйтесь. Сейчас я вам все объясню. Дело в том, что под нами с супругом трясется земля. Прямо дрожит потрохами. По ночам досаждают особенно. Того и гляди, сверзишься на пол с кровати. Но главная странность в другом: никто, кроме нас, отчего-то вибраций не слышит. Даже пес. С ним-то у нас и загвоздка. Сами судите, ну как не поверить собаке? С людьми все понятно: тем в принципе легче не верить, чем верить. Да и как им поверишь, когда, стоит нам завести о подземных толчках разговор, все впадают в нервозность и глохнут. Вы и представить не можете, до чего наши люди страшатся любого намека на неполадки в земной гравитации. Надо думать, в подкорке заложено. Порой кажется, будто они сговорились и таят от нас общие сведения, о которых на целой планете не знают лишь двое. В общем, нас окружает сплошное вранье.

– И вас, кстати, тоже, – встрял муж. – Если только вы с ними не в сговоре.

– Вот вы нам теперь и скажите: разве можно принять на веру, что никто, кроме нас, не слышит дрожания земли, когда ее так колбасит?

– Вы что, надо мною смеетесь? – полюбопытствовал официант с учтивой улыбкой и добродушной угрозой в голосе. – Или вы так весело шутите?

Расхохотались.

– Мы смеемся, – рыдала жена.

– И весело шутим, – всхлипывал муж, протирая глаза.

– А если серьезно, мы озадачены. Почему, к примеру, толчки не оставляют следов? Ни трещин на стенах, ни морщинки на стеклах, ни единой строки в новостях! Получается, вся эта качка для того и затеяна, чтобы метить нам в души.

– И души исправно болят.

– Приглушить эту боль удастся лишь смехом.

– Мы и смеемся – почти уже год. Но вчера мы решили, что хватит: имеется смех и получше.

– Посмеяться над теми, кто нам задолжал. А должников у нас уйма. Я бы сказала, весь мир, задолжавший нам столько, что жить и смеяться нам дальше уже не с руки. Хоть должок его – суцая мелочь.

– Такая ничтожная, что говорить даже совестно.

– Пустячная сдача. Ответная плата за то, что мы появились на свет, чтобы платить ему собственной жизнью.

– И зовут ее «правда», – поднял палец мужчина.

– С очень маленькой буквы. С большой – это правда иная, на все времена. Тут же речь о другой. О самой простейшей, дурацкой. Вас это не задевает? Или вам она не нужна?

Официант откровенно устал.

– Правда? О чем?

– Ни о чем, если вы, как сейчас, задаете вопрос свой из вежливости.

– И хотя бы о чем-то – если вам надоело не верить.

– Понятно. Вам больше не нужно меню?

– Забирайте. И спасибо за ваше терпение. Напоследок открою секрет: конца света не будет. По крайней мере, не в этом году. Вот такая для всех нас подстава!

– Смешно, – согласился официант и откланялся.

Смех запивали лафитом.

После третьей бутылки мужчина извлек из кармана сигару, наблюдая за тем, как жена уплетает десерт.

– Эй, обжора, смотри, станет плохо.

– Не занудничай. Мне хорошо.

Распорядившись вписать ужин в их счет за номер, он едва наскреб по карманам на чаевые. Пока поджидал за столом, не спеша докурил, искрошив в тараканьи спинки огрызок сигары. Время густело, потело, гудело и давило ему на виски. Мужчина порядком извелся, глядя на дверь с дамской шляпкой над желтым стеклом.

Наконец она отворилась.

Вид у жены был святой и задумчивый.

– Знаешь, это уже ни в какие ворота... Слишком было мне хорошо, чтобы сразу потом – так ужасающе плохо. Вся их шикарная жизнь – просто свинство... А знаешь, я даже рада, что извергла всю эту гадость. Очень важно сегодня идти налегке. Что у нас дальше по списку?

– Любая мечта. Пункт седьмой: свободное творчество.

Помолчали.

– Даже как-то обидно, что это пугач, – сказала она, блеснув черным в сумке.

– Ты спускалась в гараж?

– Сам сказал, пригодится.

– А выстрелить ты бы смогла?

– В человека – не знаю. А в человечество – да.

– В человечество всякий сумеет.

– Тебя бы убить я смогла.

– А я вот тебя бы не смог.

– Ты меня меньше любишь. Не спорь. Лучше придумай, чем нам заняться. До рассвета еще далеко.

– Ночной клуб? Стриптиз-бар? Прогулка на яхте с шампанским?

– Надеремся и праздник испортим. И потом, у нас нет больше денег.

– Проклятые деньги! Их всегда не хватает.

– Даже когда не нужны, – подтвердила жена.

– Что ж, жребий брошен: грабеж.

Вышли на улицу.

– А как мы узнаем, кто нам с тобой задолжал?

– Ошибиться тут трудно.

– Хорошо, когда только мы правы, а все остальные кругом виноваты.

Так хорошо, что хуже совсем уже некуда, исподтишка думал он.

Подождали. На улице было свежо и тоскливо.

– Знаешь, – сказала она, – а я ни о чем никогда не мечтала, кроме как жить, чтобы уже ни о чем не мечтать. А выходило всегда только жить, чтобы мечтать хоть немного пожить по-другому. Как вспомню, воротит. Теперь я уже ничего не хочу. Поскорее б рассвет...

– Может, отправимся в номер?

Она отвернулась:

– Чтобы лежать там и плакать?

– Чтобы заняться любовью.

– Для любви слишком поздно. Дай-ка сюда пистолет и отойди, где темнее... Эй, товарищ, стойте!

Подошла к какому-то типу в фуражке, в котором супруг угадал поставого. Игра приняла дурной оборот. Пока мужчина решал, не пора ли выступить из укрытия, жена взяла полицейского под локоток и потащила в арку. Послышался стон. Следом раздался шлепок оплеухи.

Подбежав, мужчина увидел, что поставой стоит на коленях, а над ним нависает лиловая тень и держит в руках пистолеты.

– Выверни дяде карманы, – распорядилась она. – Сколько он нащепал?

– Четыреста семьдесят баксов. Плюс восемь шестьсот деревянных.

– Хренов оборотень! Сейчас мы с тобою сыграем в рулетку.

– Лучше дай ему в морду, и дело с концом.

– Представляешь, забыла, какой же из двух настоящий. Подожди, не подсказывай!

Постовой дрожал, но молчал. Правда, молчал как-то громко.

– Прекратите цокать зубами. Омерзительный звук, – раздражилась жена.

А ведь мне и впрямь все равно, думал мужчина, беря полицейского за подбородок. Одно любопытство: выстрелит или нет.

– Он что, обмочился?

– Это ты его сунула в лужу.

– Жить-то хочешь? – спросила жена.

Полицейский кивнул. Дар речи к нему не вернулся.

– И зачем тебе жить? Объясняй. У тебя две минуты.

Время было уже на исходе, когда постовой взревел и закашлялся.

Она подстегнула его, двинув в затылок стволом.

– Дети... Родители... Нужно!

– А жена?

– Умерла, – всхлипнул он. – Самоубийство.

Супруги переглянулись. Полицейский уткнулся лбом в лужу. По телу его пробежала зигзагом конвульсия.

Если бы он не заплакал, она бы его пристрелила, подумал мужчина.

– А я ведь почти что убила, – сказала жена, когда они поднимались на лифте в свой номер. – Руки чесались спустить оба курка. Ловко ты это придумал – посадить его на такси.

– Покуда от страха оправится, нас и след уж простыл.

– Хорошо быть богатым. Твори, сколько хочешь, паскудства, и никто на тебя не подумает... А вот, например, тебе не было стыдно?

– Ни капли. То есть было, но как-то неискренне. Я стыдился спустя рукава.

Улеглась на кровать и стала крутить пистолеты, примеряя стволами к груди и виску.

– Прибери от греха.

– Любопытно сравнить ощущения. Вроде бы общего мало. Я его держала на мушке, и у меня было чувство, будто в кои-то веки все стало весомо и правильно. Будто жизнь моя обретает свой истинный смысл. Теперь все не так. Как-то слишком намеренно. Вместо ярости – вялость. Выходит, на выстрел в себя мне не хватает запала. Ну, и где справедливость?

Он был уже в ванной и долго мыл руки.

Когда он вернулся, жена сидела перед зеркалом, застывши прямой, неуютной спиной.

– Смотрю и не верю, что я – это я.

– Брось. Ты же его не убила. Только на миг захотела убить. Минутная вспышка.

– Было немного не так, – возразила она. – Я его не убила, потому что себя испугалась.

А себя испугалась, потому что совсем не боялась стрелять. В остальном же все было весомо и правильно. Как два пистолета в руках.

– Правильно то, что сегодня на это плевать, – напомнил ей он и потянулся обнять за холодные плечи.

Отпрянула резко:

– Мне надо немного подумать. Я побуду одна?

Просьба его покорила. Внезапно жена из сообщницы превратилась в его же противницу. Что-то в воздухе переменялось – неуловимо, непоправимо. Какое-то гиблое, подлое чувство уже подступало к нему самому. Больше всего оно походило на ненависть, хотя ею быть не могло, и меньше всего – на любовь, хоть не быть ею тоже едва ли умело.

На примятых сугробах постели сбилось в скрученный труп одеяло. Пистолеты валялись у трупа на белом бедре. Спрятав оба в карманы плаща, муж вышел решительным шагом из люкса.

Жена не сводила глаз с зеркала. Кудрявое позолотой на раме и плешивое изнутри, оно походило на череп. Смуглый обглоданный череп, вид сверху, подумала женщина и усмехнулась. Блестит, будто лысина, и отражает посмертно меня. Смешно, рассудила она. Чтобы убедиться в этом, расхохоталась. Потом звонко, счастливо расплакалась, растекаясь лицом в амальгаме.

– И все же, какая свинья! Держала на мушке и упивалась своей кровожадностью.

Власть над собственной жизнью дает власть над миром. Утверждение это банально, но истинно. Все, что истинно, слишком банально. Вот отчего мне хреново.

Она поднялась. На балконе было прохладно и мраморно. Под балконом – мелко огнями, игольчато огоньками. Казалось, можно собрать их в ладошку.

Ей захотелось обратно к собаке. И прижаться к отцовской груди. Захотелось шагнуть от себя и выпасть – наружу, туда, на иголки. Захотелось увидеть хоть краешком глаза тот Остров Воздуха, о котором когда-то мечтал ее муж. Но ничего из того, что хотелось, сделать она не могла: больше всего ей хотелось, чтобы хоть раз в ее жизни что-то сделалось *вдруг* и *само*, без ее прямого участия. Случилось как чудо, и тогда она бы поверила: жизнь – это чудо. Потому что без чуда жизнь была мутотой. Бессмысленной пыткой терпением. Экзекуцией временем и суетой. Унылой возможностью всех невозможностей. Одним словом, была просто жизнью, а значит, полнейшим конфузом.

Размышляя об этом, она не услышала, как муж вошел в номер. Он приблизился сзади и принял в ладони ее озябшие груди. С благодарностью ощутила, как они наполняются негой и радостью. Она его очень любила. Так сильно, что всякие мысли о том, будто помимо любви нужно еще как-то жить, были невыносимы. Но сторониться их, сколько ни пробуй, не получалось.

Жизнь – это бегство от жизни, заключила она, если уж быть совсем откровенной и не бояться признать очевидность. Оттого-то нам тесно, оттого-то нас так и трясет.

– Извини, что прогнала. Зато я ужасно соскучилась.

– Промерзла насквозь. Пойдем внутрь. До рассвета уже совсем близко.

Лежали обнявшись и слушали пошепт сердец. В комнате громко, пронзительно пахло весной, но сквозь нее пробивался и запах иной, посторонний.

– Пахнет странно. Не чувствуешь?

– Тебе померещилось.

– Дай сюда руку!

Поборолись. Завладев его кистью, она поднесла ее к носу. Потом резко вскочила с постели. Карманы плаща оказались пусты.

– Где пистолет... пистолеты?

– Откуда мне знать!

Села на пол, закрыла руками лицо.

– Ты кого-то убил?

– С чего ты взяла? Говорю же, тебе померещилось.

Молчали, пока она не завывала от боли. У нее разболелись все кости. Болела вся кровь и болела душа. Даже тень на полу ее тоже болела.

Он лежал на кровати, не сводя с нее глаз. Почему-то ей сделалось стыдно.

– А ты правда кого-то убил?

– Если честно, не знаю. Возможно, промазал.

– В кого ты стрелял?

– В человека. В человечество я бы попал.

– Просто так вот, вдруг взял и пальнул?

– Это было так просто!

– Но *зачем*?

– Минутная слабость. Точно как у тебя.

Ее озарило:

– Ты что, мне завидовал?

– Отставать не хотел. Теперь я на шаг впереди.

– Ты стрелял, чтобы я передумала?

– Когда ты прогнала меня, я подумал: тебе надо дать только повод, и ты от меня отречешься. Если ты испугалась убийцы в себе, убийцу во мне ты не стерпишь.

– Потому что тебя так люблю?

– Что-то вроде того.

Она не сдержалась и прыснула. Долго, до колик, смеялись. Попытались заняться любовью, но вышло нескладно, так что почти ничего и не вышло. Их это совсем не расстроило.

– Выпить не хочешь?

– Предпочитаю дойти налегке.

– Я тогда тоже не буду.

За окном перестало темнеть. Каждый из них считал своим пульсом минуты. В кои-то веки земля не дрожала.

– По-моему, все, как хотели. Это был замечательный день. Мы же ни в чем не ошиблись?

– Парашют, – сказал он. – С ним мы с тобой дали маху.

– Мечтали всю жизнь о такой ерунде!

– И боялись всю жизнь, что не сможем.

– Теперь-то уж ясно, что сможем.

– С парашютом – еще не прыжок...

– Есть еще время для ванны? Ты проверял, во сколько сегодня рассвет?

– В шесть двадцать восемь.

– Могу не успеть. Лучше пойдем вместе в душ.

Искупавшись, они облачились в наряды от Каран, Бриони и Босса.

– Галстук надеть?

– Ни к чему. А мне губы красить?

– Разве что самую малость. Не видела, где мой одеколон?

– Ты очень красивый.

– Ты гораздо красивей.

– А вот, например, ты доволен, что я целый день держалась, держалась и додержалась?

Я ведь не передумала?

– Я тобой очень горжусь. Но был бы не против, если бы ты передумала.

– Обманщик! И за что я тебя так люблю?

– Для меня это тоже загадка. Хочешь не хочешь, а лично тебе задолжал больше всех как раз я.

– Сегодня ты все искупил. Я сегодня так счастлива!

Он поглядел на часы.

– Шесть двадцать семь. Осталась минута. Готова?

– Почти.

На пару секунд она задержалась у зеркала, подбирая под счастье лицо. Потом взяла мужа за руку и повела на балкон. Они ступили на мрамор и, ободряя друг друга улыбками, чуть подышали апрельской прохладой. Мужчина помог супруге взобраться на балюстраду, после чего сам вскочил на перила и вернул жене свою руку. Она совсем не дрожала (ни рука, ни жена). Когда он вдохнул первый луч, его жадные, звонкие легкие налились до краев торжеством и

предвосхищением полета. Ноздри защекотало лепестковым благоуханием, и он почувствовал, что в этом шаге вперед, уже сделанном ими, воздушном, свободном, бездонном, заключена последняя правда о том, чего знать никому из живых не положено. Чудо жизни свершилось и было коротким, как миг. Как полет. Как вторжение в вечность.

Здравствуй, утро! Салют, Остров Воздуха! Вот и мы до тебя добрались.

Во сне он и вправду – летал...

Гонконг, 31 октября 2011

Скорость света – еще не предел

В Мексике ученые совершали восхождение на гору инков. Проводники из местных несли багаж. Неожиданно носильщики остановились, уселись наземь и просидели молча несколько часов. Потом так же внезапно поднялись и двинулись дальше. «В чем дело?» – спросили их наниматели. «Мы слишком быстро шли, и наши души за нами не поспевали. Поэтому мы их подождали».

Микеланджело Антониони. За облаками

Спустя час ликования город уже изнывал. Рев болидов рвал ему перепонки и рисовал горелой резиной по коже дымящихся улиц чернильные татуировки. В номере старой гостиницы, почти задевавшей мозолью фасада петлю автогонок, лежал человек, смотрел в потолок и усердно дышал. Пока за окном драла глотку скорость, он был поглощен самым медленным делом на свете – человек умирал.

Смерть его оказалась боксером: едва он напялил костюм и завязал шнурки на ботинках, она саданула его под ребро и швырнула лицом на кровать, после чего, размазав очки по щекам идохнув ему в ноздри злорадным молчанием, отступила на шаг, любуясь своею работой и давая понять, что никуда не спешит.

Человек был ей за это признателен. Благодарность – первое чувство, которое будит в нас смерть, когда не торопится нас убивать. Страх приходит вторым, а любимая спутница смерти – отчаянная тоска – добредает до финиша третьей. Теперь-то он знал это точно, испытав по порядку все три настроения, где первым и главным была – благодарность.

Без малого час он потратил на то, чтобы перевернуться на спину. Приняв, наконец, подходящую случаю позу и слезясь жидким глазом на скользкий, как лед, потолок, человек подивился сотворившейся с ним недоверности: как могло приключиться, что сил его, не хватавших уже и на слабенький крик, вдруг достало на несколько мощных толчков, которыми он, обошедшись без помощи рук, опрокинул себя на хребет? Руки предали тело практически сразу: окаменели и скрючились, впившись костлявыми палками в грудь, отчего так кололо дышать. Собственно, руки и были тем продолжением боли, что боксерским ударом пресекла ритм жизни и голос. Вместе с ними стремительно таяла память, к чему был человек уж совсем не готов. Подобно всем остальным, только не полумертвым, как нынче, а безалаберно, слепо живым, раньше он полагал, что в последний момент земного присутствия перед ним непременно, волшебным восторгом, откроется тайна, постигнув которую, он растворится смиренно душою в небесных глубинах. На поверку же вышло, что истины нет. Не считать же за истину стыд!

А ему было стыдно – за себя и за то, что так быстро забыл про себя и всех тех, кем он был, пока помнил себя и растил.

Неприятный сюрприз – умирать не собой, а другим, которым ты стал только что на потеху лишь собственной смерти.

Между тем, кто он был этим утром, и тем, кем сейчас учинился, разверзлась преступная пропасть. Он ее чуял, как ложе – затылком. Овернуться назад он не мог, да и не очень хотел: себе нынешнему прежний он сделался неинтересен.

Выходило, что вся его жизнь смерти не пригодилась ничутью. Было это не то что обидно, но как-то лукаво и совестно, отчего в нем мелькнула надежда: что, если смерть его и не смерть еще вовсе, а так – репетиция, шутка, полуконец понарошку? Вслед за этой волнующей мыслью явилась веселым испугом вторая: вдруг настоящая смерть – это и есть репетиция, шутка, лишь постановка конца, а конца *до конца* не бывает?

Размышлять в таком роде перед носом у собственной смерти было, пожалуй, рискованно: черт ее знает, насколько легко разозлить. Но думать о чем-то еще представлялось уж полным кошунством. Например, вспоминать про семью: коли той нету рядом в такую минуту, значит, она не нужна навсегда.

Так-то вот, зевнул он, задыхаясь. Живешь ради них, а умираешь во имя забвенья. Интересное дельце: ни жена, ни собака, ни дети, ни мать, ни его волоокая радость – проказница Клара (кларнетный мотивчик подпольной любви за спиной у семейно-служебных хоров) – не откликнулись даже тоской. В его съезженном сердце места для них не нашлось. Память о них поминутно тускнела, стираясь в дырявую, тощую тень где-то на заднике быстрых видений, вхолостую мелькавших в мозгу, ни одно из которых его привередливый разум удержать при себе не рискнул. Все они были из жизни, а с нею – той, что для смерти была понапрасну – теперь было точно покончено. Мельтешение цветистых обрывков, хаотично сдираемых с ленты судьбы, ему досаждало и, что хуже, бесноватое это мигание из осатаневшего жизнепроектора отвлекало от важной, огромной, мучительной и убегающей мысли.

Сперва человеку подумалось, что это, должно быть, расплата, и если причина вся в совести, его быстрорукая смерть настигла его как отмщенье – за то, что он врал, как дышал, и дышал, чтобы врать. Врал жене, сослуживцам, друзьям и себе, врал детям, собаке, родителям, снам и любовнице.

Сюда, в Монте-Карло, он прибыл, соврав всем по очереди: супруге сказал, что едет с друзьями на море; друзьям объяснил, что не может – всюю поджигают дела. Детям поклялся быть дома к их дню рождения (да-да, близнецы, причем трое: гордыня его и в делах, и в деньгах, и в постели была плодovита). На работе сослался на срочное дело в Париже. Мать заверил, что оставляет собаку всего на два дня, а собаке наплел по дороге, что вернется за нею к обеду. Оставалась без лжи лишь любовница, но и той он соврал, хоть не сразу, а только вчера, когда ни с того ни с сего вдруг решил от нее отдохнуть в Монте-Карло.

Тьфу ты, господи! Монпарнасское кладбище! Вот ведь где был намек. Дернул черт их туда забрести... Тогда-то она впервые ко мне и подкралась, осенило его.

В голове чем-то брызнуло, лязгнуло и заскрипело. Пленку заело, размыло, слегка отмотало и снова пустило вперед, только теперь на пригодной для взгляда, покладистой скорости. Увиделось явственно, как на картине: он, она и могильные камни. Взмолился устало из зала: погодите, не нужно, это уже не мое... Куда там! Педантичный механик его не послушал; сеанс начался, закрутив на бобинах клетчатый хоровод, сплошь состоявший из недомолвок и околичностей. Декорация – смерть в нарядных надгробьях, на авансцене – он сам в синем натужно-нарядном костюме и Клара в наряде из грубого льна, эспадрилий и молодости.

Битый час искали могилу Кортасара. Моросило, потом пошел дождь. Клара жевала жвачку и упрямо не слышала обращенных ей в спину упреков. Ноги ее раздраженно шуршали по гравию. Сам он плелся понуро за прозрачным плюющимся зонтиком, сокрушаясь о мягкой подошве новеньких мокасин и проклиная свою пожилую покладистость. Он промок, стал задирист и мстительно голоден. С каждым шагом в нем зрело решение напиться и испортить культурно расписанный вечер, хоть заранее знал, что на подвиг едва ли способен: как любая богиня, Клара бывала надменна, а к капризам пузатых мужланов (так она величала покинутых ею сожителей) нетерпима подчеркнуто. Кое-кому от нее сделалось сиротливо и навеки необитаемо. Прежний ее ухажер и вовсе покончил с собой, в чем волокита теперешний находил для себя особый азарт: все равно что бежать по канату и верить, что, если припрет, побежишь и по воздуху.

Отыскали. Как и предвидел, оказалось – грошовая скука. Белый мрамор с квадратным отверстием вместо кармана, чтобы поклонники клали цветы и совали, как взятки, записочки. С изголовья, слепившись в змею, поднимаются вверх девять серых монет, с одной из которых глядит лупоглазая белая рожица.

– Чем же так знаменит этот Хулио?

– Хорошо играл в классики.

– Доигрался, что в ящик сыграл.

Иногда он шутил, хоть шутить не любил: вслед за этим краснел.

Пока он краснел, заикаясь улыбкой, Клара спокойно жевала жвачку. Потом прилепила ее аккуратным цветочком к надгробию:

– Это тебе вместо роз.

Тут оно и случилось. Человека пронзила холодной иглой догадка: их *живая* любовная связь уступала в интимности той, что возникла всего за минуту между Кларой и этим покойником. Ощущение было столь острым, что обуяла вдруг ревность.

Ревность к мертвому – подлое чувство.

Вдобавок оно непролазно уныло.

В «Ротонде», где укрылись они от хлеставшего в окна дождя, к еде человек не пригнулся. Аппетит пропал напрочь. Все кругом – красные стены, шум ливня, прилипчивый запах столетнего кофе, глазастые головы, цоканье вилок, смешки и картавые голоса – навевало хандру. И уже в пику ей ленивыми, толстыми волнами в нем поднималось желание встать в полный рост и всем поперек сделать громкую, честную гадость. Но для того надо было бы все же напиться, а этого он не умел: потуги надраться приводили обычно лишь к приступам рвоты – так вымещала на нем свое возмущение неизбывная трезвость натуры. Осторожный в питье, он обычно ссылался на возраст: «Пятьдесят – это когда ты сегодня совершаешь все подвиги двадцатилетнего, а завтра лежишь в полукоме, как девяностолетний старик. Ты же такого не хочешь?»

В общем, пьяным он становился не часто и только во сне.

В ту ночь ему снился кошмар: обнаженная женщина посреди запруженной улицы. На высоких стрекочущих каблуках она бежала куда-то с огромной подушкой в руках. Лицо ее выражало предельную сосредоточенность, с какой куда больше б пристало считать на костяшках остаток по кассе, чем нестись голышом по асфальту. Лица он не знал, но не знал так чудовищно долго, что ненавидел его узнавать всякий раз, как оно появлялось сквозь щелочку сна и, раздвинув ее, точно занавес в театре, принималось дышать – неприятно и близко, хотя и свежо, но пугая ноздрями, от которых он мог увернуться, только сдавая назад и вращая спиной в уличную толпу, где, будто черпак на сугробе, оставлял по себе размашистую стезю. Заступать на нее никто, кроме голой девицы, не думал. Получалось, он сам расчищает ей путь, и чем дальше он пятится, тем теснее она на него насаждает.

Проклятуший кошмар гонялся за ним чуть не с детства, но никогда по-настоящему не настигал, предпочитая петлять привидением за его брезгливым сознанием и, самое частое раз в год-другой, наугад выдирать по листку из его тучнеющего календаря. А потому подушка так и осталась в руках обнаженной убийцы и не захлопнула жертве глаза, не задушила ее и не впитала в себя, точно кляксу, последние всхлипы исковерканного дыхания.

Каждый из нас в мир приходит бессмертным, догадался мужчина. Но забывает об этом, едва посещает его подобный кошмар. Нагнав на нас страху голым призраком смерти, он заставляет нас кротко прислуживать ей. Вот чем я занимался столько лживых, запущенных лет: прислуживал смерти. Потому что, робея ее, искал смысл в жизни, не решаясь признать, что в ней смысла нет. Смысл есть только в бессмертии, а оно – производное смерти.

Все так просто, когда убедишь себя в том, что конца до конца не бывает. И потом, если правду сказать, за такую плешивую жизнь, как его, умирать совершенно не стоило.

Он счастливо заплакал. Слезы смывали его заскучавшую боль. Невидимка-боксер беззаботно дремал в углу ринга. Такой передышкой было грех не воспользоваться.

Главное, можно по-прежнему думать, подумал, смакуя, мужчина. Впрочем, *по-прежнему* – слово неверное. Раньше я так не умел. Раньше думалось мне перебежками, тихо, на цыпоч-

ках, будто мысли чурались яркого света и смотрели на солнце из-под мутного козырька. Теперь я могу размышлять широко и протяжно, просторно, воздушно, прямо как птица на крыльях. Думаю не под себя, а наружу. И вот что: наружу – это и есть глубина. Ибо наружу не значит снаружи.

Чтобы проверить, прислушался к грохоту из-за стекла.

Так и есть: шум моторов больше не докучал. В восприятии что-то непостижимо переменялось. Метаморфоза коснулась не столько слуха, сколько самой природы инстинктов и реакции организма на внешние раздражители. Изменилось и ощущение времени.

Времен, как всегда, было два, только вот функционировали и взаимодействовали они уже по-другому. Если час назад время, что в нем, внезапно и насмерть застыло, а время второе, парадное (торопливо-беспечное время живых), как ни в чем не бывало пулей носилось по городу, то нынче все обстояло иначе: «время-внутри» вдруг очнулось и покатило восторгом по жилам, а «время-снаружи» затормозило, да так, что едва поспевало за пульсом. Не успел он об этом подумать, как оба времени ударили по рукам и окончательно синхронизировались, предъявив неожиданный фокус: неспешная, вязкая, мудрая и на диво *протяжная* фраза, текущая у человека в мозгу, легко и уютно вгрызалась зубцами неслышимых звуков в пазы флегматичного ритма, отмерявшего скорость болидов, *ползком* пролетающих под окнами.

Так продолжалось недолго – от силы минуту. После чего время внутри человека задало такой темп, что время болидов запуталось в нотах и безнадежно отстало. В груди у мужчины уже не кололо, а чем-то тихонько звенело, как если бы кто-то позвякивал весело связкой ключей. Ключей было много, самых разных сортов и размеров. Отпирают любую посмертную дверь, смекнул человек и потопилще прикрыл глаза веками, чтобы думать наружу совсем изнутри.

Думал он широко и подробно, обнимая в полете крылами всю правду. Она открывалась пред ним донага и, играя подушкой, смеялась. Смущенный, покорный и радостный, он неуклюже оправдывался:

– Насмешничать дело нехитрое. Но, при всем уважении, полагаю, с тебя не убудет и поймешь снисхождение. Жизнь – штука сложная, вздорная, нервная, суетливая и неопрятная, особенно темная по углам. Да еще постоянно какой-то аврал. Вот мы в ней и запутались. Довелись разуму и угодили в ловушку. Потому и не справились с вечностью. Сбило с толку нас время. Иначе и быть не могло, коли в него не вместить ничего, кроме самой нашей крошечной жизни и космического вранья. Этот товар завсегда идет к ней в придачу. Ну вот...

Тут, на самой меже своего монолога, он слегка оскользнулся, чуть не юркнув в кювет пронырливой мыслью про то, что совсем не стесняется показаться бабенке с подушкой философ. Внезапно он понял, что знает побольше всех тех, кто беседовал с ней до него, и храбро продолжил, с трудом поспевая за ходом своих рассуждений:

– Сама посуди: идея вселенной как бесконечности уничтожает все смыслы, стирая границы между абсурдом и очевидностью. Если мир бесконечен, значит, прошлое с настоящим встречаются в будущем, которое есть тавтология всякого прошлого, живущего лишь в настоящем, которого нет точно так же, как всевозможного будущего, понимаемого нами ошибочно как нечто такое, чего еще нет. Между тем его нет лишь для мига, где мы обитаем, выбираясь из прошлого, которое мы покидаем в любое мгновение жизни, чтобы приблизиться к будущему. А его на поверку и нет, потому что наш мир бесконечен не только во времени, но и в пространстве, а значит, он повторяет себя бесконечное множество раз в любую секунду в любом настоящем, что становилось уже нашим прошлым и будущим бесконечное множество раз. Отсюда делаем вывод о том, кто мы есть, и выясняем с досадой, что мы существуем в тошнотворно бесчисленных количествах. Получается, мы – только копии нас, причем копии с копий: оригинала любого из нас не было, нет и не будет. Ибо мы это-лишь-бесконечное-множество-нас, экземпляры тех «я», которые были-и-будут безо всякой надежды на то, чтобы быть-только-

нами. Выходит, каждый отдельный момент нашей жизни – это-несметная-численность-нас, не способных понять, что нас-подлинных-нет-и-не-будет.

Очевидность, однако, твердит нам, что мы это мы – только-мы-и-никто-кроме-нас. А тем, кто не верит, предъявляет в качестве доказательства боль, которая-в-нас-так-болит, что-нам-нету-дела-до-всех-наших-копий и бесконечности мира. Отсюда и ценность любой нашей жизни, что полагает-себя-уникальной-и-бьется-за-право-всех-наших-копий-почитаться-за-подлинники. Похоже-жизнь-это-и-есть-единственный-способ-отрекаться-на-время-от-бесконечности-мира. А смерть – восклицательный-знак-вослед-тексту-жизни.

Почему жетогда мы так не хотим умирать? Не означает ли страх наш подспудно протеста против глумления над оригиналом и его низведения до еще одной копии? Пусть наша жизнь это всего лишь иллюзия подлинности, смерть это оригинал. Кем бы мы ни были в жизни мы всегдамираем собою.

Он улыбнулся, испытав почти что блаженство. Все так очевидно, когда за порогом кивающей смерти тебя ожидает уютная бездна бессмертия. Ему захотелось теперь говорить о душе. Он знал, что последняя точка для времени означает всегда запятую в стенограмме заботливой вечности, ведущей тебя за собой сквозь все твои смертные жизни.

Невесомый, он подхватил обнаженную женщину и закружил ее вихрем в лихом галактическом танце. Слиться им в поцелуе мешала подушка. Но зато ничего не мешало галантно шептать ей на ухо свои откровения – даже слова, которые он за ненадобностью и без сожаления выплюнул. Поспевать за ним они все равно не могли, а задержаться в их времени хоть на мгновение было уже невозможно, поскольку его персональное время, время-внутри, несло и бурлило, презрев все законы земной гравитации.

Он шептал голой Кларе (а может, жене? А может, сестре? Или все-таки матери?), шептал ей на ухо сокровенные речи без слов, и она поощряла, серьезнела и зажигалась глазами, уводя его в танце все выше и выше, глубже и глубже, в неизмеримые и, по меркам вселенной, безмерные измерения:

– Ты не думай, я до тебя никого не любил. А полагал, что любил слишком многих. Это все потому, что я не умел слышать душу. Я ведь как рассуждал о душе? Старался думать не вширь, а повдоль, напрямки, иными словами – логично. Дескать, если душа в нас бессмертна, есть и загробная жизнь. Правда, придется признать, что возможность ее напрямую зависит от нашей внезапной способности к абсолютному и незаконному в рамках обычной судьбы перевоплощению. Поскольку свершаться ему суждено исключительно в наших надеждах, да и то лишь посмертно, пока мы живем, думал я, перевоплощение это в нас спит летаргическим сном. Причем так нестерпимо и крепко, что эфемерность дыхания его не различают ни наш близорукий рассудок, ни легальные органы чувств – слух, обоняние и зрение тут, согласись, совершенно бессильны.

С точки зрения логики, варианты перерождения могут быть какими угодно – или какими угодно *не* быть. Ясно одно: метаморфоза посмертия, коли она приключается, знаменует собой переход нашей жизни в иное, запретное прежде для нас измерение – ну, знаешь, по аналогии с ультразвуком или инфракрасным лучом, распознавать которые нам без специальных приборов заказано.

Итак, предположим, размышлял комически я, что вся наша смертность – лишь форма существования бессмертия. Как тогда будет выглядеть форма, в которую мы облачимся для своего следующего бытия?

Велик был соблазн представить посмертную жизнь антитезой земному существованию и допустить, что *тот* свет начинается не с привычного в *этом* деторождения, а с щелчка выключателя, со смертостарости, после чего и зажжется тот самый свет. Пока он горит, мы целый век молодеем. Отныне молодость есть наша зрелость, а юность – преддверие старости. В итоге настанет момент, когда мы впадем в сопливое детство. Под конец же нас ожидают пеленки и

люлька, откуда уже нам не выбраться – разве что в страшную бездну утробы того существа, которое нас поглотит, чтобы, слегка подкрепившись нашей младенческой кровью, продолжить свой путь к неизбежности собственной гибели.

Оригинален я не был. Отголоски подобных мотивов можно найти в разных книжках и даже в кино, что само по себе характерно: непонятность любой перспективы мы, как всегда, восполняем бездонностью наших душевных зеркал, в которых легко почерпнуть идеи *навыворот*, *наоборот* и *вопреки* очевидному. Но сейчас интересно другое: как я мог озаботиться не содержанием души, а формой флакона, в который ее перельют? Неужели та жизнь, из которой я только что вырос, была лишь насмешкой над тем, без чего ей нельзя? Ведь нельзя же нам жить без души! Нам без нее умереть – и то не положено. Как ничему не положено оказаться хотя бы чуть-чуть от нее впереди. Даже свету. А душа моя точно быстрее...

– Ну наконец-то! – улыбнулась она и растворила объятия, чтоб растворить в них мужчину. – Ты нашел последний свой ключ.

Когда он отдал ей свою душу, подушка мягко упала с кровати.

Триста тысяч километров в секунду, говорите? Не-ет, это еще не предел...

Владикавказ, 2 июня 2012

Чудо любви и обмана

Вся наша культура основана на обмане – будь то погрешности перевода священных книг, предвзятые интерпретации событий или лукавые мифы, гримирующие подлость истории. У этой тотальной лжи есть лишь одно оправдание – жажда чистого, честного чуда, на которое нас обокрали.

Матвей Фортунатов. Громогласная ода обману

Говорили, в свои тридцать пять был он богатый и толстый. Унаследовал три миллиона от старой карги из Колумбии, прихोдившейся двоюродной бабкой покойнице-матери. Тренять деньги он не умел, а потому сидел в своем доме, щелкал каналы и продолжал объедаться, разве что с большим размахом. Было это лет тридцать назад.

Говорили, к нему подбивали колья девицы на выданье, да понапрасну старались: жирдяй так стыдился себя, что безотлучно торчал в своем доме, предпочитая глядеть на мир в ящик.

Так прошло года два. А потом, говорили, к прежней обслуге он добавил охрану, чтоб совершать по ночам свои вылазки. Случалось, он даже гулял по Мадриду, правда нечасто, а коли совсем уж прискучит ползти по нему в лимузине.

Кое-кто утверждал, что, опять же со скуки, он пристрастился почитать книжки. Похоже на правду: немного отыщется способов скоротать свой век человеку, который придумал себя ненавидеть едва ли не до смерти, а до смерти еще далеко. Уж точно подальше, чем отделяло его же от смерти родителей.

Говорили, до гибели их был он нормальным мальчишкой, а как из морга останки доставили, сиганул со страху в окно и повредил себе ноги. В больнице и приключился с ним первый приступ обжорства. Пока лежал в гипсе, лопал подряд что ни попадя и бился в истерике, если не подавали еду.

Когда кости срослись, его забрали обратно домой, где с ним поселилась безмужняя тетка. Эта-то после аварии выжила, только ребра себе покрошила да нос укатала в лепешку, ну и, понятное дело, для любовных утех отныне годилась не очень. Не сыскать бедолаге было и завалящего парня, а ей оно ой как хотелось, вот она и спилась, а зимой угодила под поезд. Тело – всмятку, сохранилась целехонькой только рука, насмерть сжавшая пальцами фляжку.

От нового стресса парень и вовсе зажрался. Стал размером с тюленя и так же лоснился.

После тетки с ним жили поочередно кузина отца, овдовевшая крестная и, кажись, та дуреха с непомерно большими грудями и, будто в отместку за этот избыток, с рождения лишенная правого глаза – мамыши вторая золовка. По юродству судьбы, не проведя в стенах дома и года, все как одна отселялись оттуда на кладбище: кто костью подавится, кто кубарем сверзится с лестницы, кто на ночь закроет единственный глаз, а наутро уже не откроет.

Слава о доме пошла нехорошая. Толстяку по то время восемнадцать исполнилось. Учиться не рвался, работать совсем не хотел, жениться – и то не стерпел бы, того и гляди, снова бы прыгнул в окно. Изведение жилища на ненасытную праздность оболтуса родню оскорбляла сплоченно, но уже не настолько, чтобы и дальше легко находились охотники разделить с ним соседство. В результате махнули рукой: дескать, ну его к бесам. Пусть лучше он им идет на прокорм, чем кто-то из нас поперед – домовым на закуску.

На него хоть серчали, но как-то не рьяно: парень был несуразный, зато кроток нравом и безмятежен глазами.

Про глаза говорили, что в них небес больше, чем неба.

Так он и жил не тужил, обрастал бородой и годами, как жиром. Почти что ни с кем не общался. За исключением служанки (бывшей няньки, потакавшей ему с колыбели), поболтает, бывало, с молочником. Говорили, безумно любил молоко и ненавидел вчерашнее. Чуть свет,

крадется к порогу и в щелочку смотрит, идет ли. Пригласит его в дом и угостит сигарильей. Покуда тот заправляется кофе, подливая туда коньячку, сам лакает свое молоко из бутылки, белогубый, лохматый, как лев, и счастливый-счастливый. И только затем идет спать. Иначе со сном у него нелады, говорили.

Однажды молочник привел с собой пса: «Увязался, паскудник. Прилип к колесу и скачет квартал за кварталом. Затявкал щенячьим восторгом мне спицы». Опустившись с кряхтением на корточки, толстяк заглянул ему в морду, получил языком по небритой щеке, поперхнулся от счастья и... оставил бродягу себе.

Теперь у него завелось столько счастья, что пережить все несчастья было раз плюнуть.

До дня, когда он узнает, что есть настоящее счастье, оставалось почти двадцать лет. И еще два – на то, чтобы он осознал, что такое несчастье. Несчастье, которое, в отличие от всех прежних бед, было нельзя пережить. С ним можно было лишь жить – так, словно все, кроме боли, в тебе пережито и умерло.

Говорили, они повстречались в стекле: он смотрел на плывущую бликами ночь из-под черной завесы окна лимузина, а она наблюдала за улицей из полумрака кафе. Заштрихованное снаружи раскосым дождем, оно приютилось на самом углу. Когда машина свернула, под натиском фар витрина вспыхнула бисером ртути, но затем, отморгавшись, стояла в акварель, посерединке которой он увидел глаза, а кроме них потом ничего уж не видел. Говорили, в них было больше огня, чем в костре.

Вот он об них и обжегся.

Самым сердцем ошпарился: врач констатировал микроинфаркт и посадил на диету. Собаки – две внучки и шестеро внуков приبلудного пса – скулили от резкого духа микстур, рычали с испугу на слуг и лизали хозяину ступни. Во сне он скулил уже сам – громадный детина сорока с лишним лет, центнером лишнего веса и тяжеленным довеском – тремя миллионами в банке.

Когда он очухался, часть этих денег в кои-то веки смогла оказаться не лишней: раздобыть начальные сведения подсобила тысчонка-другая. Пятьдесят ушло на пилюли, диеты и липосакцию. Трешка в месяц – на личного тренера, сорок с лишним – чтоб оборудовать в доме спортзал. Полторы-две в неделю – на слежку и съемку (их нанятый детектив определял как «охрану объекта» и «отчет в визуальном формате»). Наемный писатель обходился в сто долларов за письмо. В двести каждые сутки вставляли букеты. Плюс расходы на парикмахера, йога, психолога. Что-то там еще и портному, консультанту по моде, учителю танцев, китайскому повару.

Дороговато, конечно, стоило вытравить ненависть, но оно того стоило.

Год спустя он почти перестал себя ненавидеть и подсобрал по крупичкам отваги.

Обустроить капкан для любви решено было в парке. Согласно задумке (тут подсобил ему писмописатель), фортуна должна была их повязать невидимой нитью, как только внезапный мерзавец (на эту подвижную роль вызвался лучший знаток социального дна – детектив) сорвет у объекта дамскую сумку с плеча и попытается скрыться. Тут-то и скажет свое слово доблесть!

Все шло как по маслу, покуда объект самолично не спутал им карты. К ужасу трупы, хрупкая дева не охнула, не подавилась бессильной слезой и не позвала на помощь, а задорно ругнулась, вырвала жердь из забора и, задрав восклицательным знаком над головой, помчалась за мнимым грабителем. Бывший толстяк, учрежденный по плану в спасители, как ни пыхтел, а нагнать ее не совладал. Всякий прок от спортзала испарился с первым же потом. Версты бегущей резины оказались короче асфальтовой сотни его неуклюжих, брыкливых прыжков. Почувствовав жало над ухом и тупую занозу в ребре, он засипел рваным горлом и рухнул подкошенным в клумбу, откуда следил перевернутым взглядом, как молотит по лысине дрыном его вожаемая суженая, вся в салюте от радужных брызг, а над затылком вместо венца – нимб умытого солнца (детектив был застигнут у чаши фонтана). Отвоевав назад сумочку и

проверив ее содержимое, она повернула туда, где возлежал на пельмешках из роз ее невезучий заступник, и, как ни в чем не бывало, распорядилась:

– Вставай, воздыхатель. Хозяйство застудишь.

Так начался их роман, в котором все главы писались ее задиристым почерком, а все междустрочья покорно внимали блаженному млению жениха.

Через месяц они поженились, несмотря на протесты его возмущенной родни: девчонка была из гренадских крестьян, на руках у которых мозоли с орех искони заменяли монеты.

– Делай со мной все, что хочешь. Только не делай мне скучно, – шепнула у алтаря. – Деньжат-то, поди, у нас хватит?

Поскольку вчерашняя бедность еще никому не мешала стать пылким азартником в тра-тах, молодуха с богатством справлялась успешно. Говорили, за те пару лет, что отвел им Господь на совместную жизнь, растратившая она умудрилась изрядную часть состояния. Словно чуяла скорый конец и спешила сполна насладиться моментом.

Говорили, любила она его щедро, подвижно и с выдумкой: то зафрахтует вертлявую яхту, чтоб обскákat Гибралтар, то «Ламборгини» подарит, то сверстает маршрут вокруг света на летучих семнадцать недель и знай себе подгоняет: шевелись, мол, брюхан, не то прозеваем рассвет в Кауаи. (Потому что опять раздобрел. Только теперь не бедой накачался, а счастьем.)

А потом с нею вдруг приключился припадок, и она угодила в тюрьму. Посреди бела дня ни с того ни с сего набросилась на лейтенанта полиции. Неподалеку от дома шагала по улице, на перекрестке застыла, пригляделась, подбежала, сорвала фуражку, вlepила пощечину, расцарапала щеки и каблуком раскроила макушку. Говорили, совсем без причины. Она же молчала как рыба и на вопросы судьи дерзко, ликующе шурилась.

Чтоб ее вызволить, толстяк отвалил тучу денег и сунул солидную взятку полицейскому боссу района, так что, едва с пострадавшего сняли последние швы, он был тихонько отправлен в отставку.

Слухи ходили, что это тот самый пролаза, от кого понесла она в юности какой-то постыдный убыток. Оказалось брехней: не она, а сестра ее, только та померла уж давно, заразившись мудреной болезнью от заезжего мавра, с кем сбежала из дому под палящее солнце пустыни: там ей было сподручней беречь и лелеять позор.

В общем, барышня вышла с историей. Но не пенять же! Так оно и бывает, когда богатею втемяшится вытащить козырь из нищей крестьянской колоды.

Происшествие, впрочем, отношения их не испортило. Напротив, еще пуще связало – морским безотвязным узлом.

Морским, потому что влекло ее море. Обожала она, говорят, синий цвет: до горизонта – вода, сверху – синь без конца и без края, а под боком всегда – небеса. Ибо в глазах у него, коли помните, небес было больше, чем неба.

Синева-то ее и сгубила.

Стряслась та беда вот на этом вот месте, где прямо сейчас – видите, там вон, под бритвой закатного солнца – колышется ветром на волнах баркас.

В Коста-Термина, богом забытой дыре, кабы не забарахлила машина, делать привал они бы и не подумали. У кабриолета, которым она управляла, на самом подъеме сюда задымился капот. С трудом доползли до отеля. За конторкой встречал их хозяин. Угостил лимонной водой и созвонился с механиком из Коста-Пенултима. Тот обещал заняться мотором с утра, а на дворе стоял уже вечер, так что пришлось, хошь не хошь, бросать якорь.

Заселились в комнате наверху (не той, что снимает сегодня фрау Марта с дочуркой, а той, что выходит окном на залив), приняли душ и спустились на ужин. Заказали рагу из креветок, гратин из омара и устрицы, к ним – литровый кувшинчик вина. Вели себя дружелюбно и весело. Только ночью уж больно шумели, чем кое-кого озадачили: от толстяка такой прыти не ждали.

По свидетельству слуг-перуанцев, пришедших наутро убраться, такой кавардак не под силу устроить и стае шиншил.

За завтраком ели салат с гребешками и картофель с креветками. Жена попросила стаканчик росадо, а муж ограничился кофе с гвоздичным пирожным.

Осмотрев их машину, механик сказал, что управится за три часа:

– После обеда уедете.

Пошли загорать вниз на пляж. Толстяка разморило, и он задремал. Жена заскучала и стала бродить в одиночку по берегу, ковыряя туфлями ракушки. Так дошагала до пристани, где поболтала чуток с рыбаками. Потом запросилась к ним в лодку, только никто из удильщиков отплывать на ней не собирался: лов закончился в шесть, а куранты на площади аккуратно пробухтели десятков ударов. Принялась молить да упрашивать, ссылаясь хныкливо на то, что ей до смерти надобно подобраться к Горбатой скале. (Она самая, вы угадали. Не утес, а уродина. Как у нас говорят, точно заржавленный серп в пуп воткнули заливу. И чего, скажите на милость, такая казистая баба там не видала! Выходит, судьба.) Посулила им добрый куш. Ну и те, наивные души, покряхтели и согласились: кто же знал, что это «до смерти» взаправду! Говорили, причем в один голос, будто она их опутала чарами. Приворожила. Не в смысле – своей красотой, а в смысле – своим колдовским, незаконным упорством.

Плыть до Горбатой скалы всего ничего: полторы морских мили. Да вы видите сами: если вытянуть руку, точь-в-точь умещается между большим пальцем и средним. Ну и вот, плывут они, значит, а она стоит на баркасе и руками в распятие играет. Эдак раскинула крыльями и того и гляди закурлычет. Тогда, мол, у них и поджали хвост души. Словно почуяли близость напасти. Рыбаки попались бывалые, опытные, доверять привыкли не прогнозам по местному радио, а исключительно солнцу да нюху, и нюх им подсказывал, что грести до беды оставалось недолго. Правда, вслух о том никто не обмолвился: говорили же, околдовала!

Подплыли и сбросили сходни. Попросили ее торопиться, дескать, ветер с востока задул, что в этих краях не к добру. В ответ посмеялась:

– Коли вам страшно, гребите обратно.

Знала, как взять за живое: после слов обидных таких отчалить уже не могли. Курили под крутояром, плевали на камни досаду и уныло глядели, как дамочка, скинувши туфли, босиком карабкается на скалу, а у той, как известно, с этого боку из каждой щербины торчат, точно лезвия, раковины. Прыткая, жалко: поранит ступню и вернется, думали рыбаки одну на всех думу и боялись одним на всех страхом, что нет, эта – не повернет, покуда не сделает то, для чего ей приспичило лезть на дурацкий утес.

Ветер и вправду крепчал. Когда она доползла до вершины, заорали в три глотки ей снизу, чтобы пригнулась скорей и спускалась. А она как не слышала. Может, не слышала, черт его знает! На верхотуре-то дуло тогда будь здоров, так что, возможно, она не расслышала. А потом, говорили (не только те трое, но и все, кто следил за ней с берега: постояльцы отеля, хозяин и слуги, механик и муж, продравший на оклик глаза), она поднялась в полный рост и раскинула в стороны руки, и в это мгновение, прежде чем ей улететь, скала вдруг преобразилась. Впечатление было такое, будто она озарилась ее красотой и из ржавого серпа, застрявшего в пупе у моря, превратилась в сверкающий искрами пьедестал для полета.

Когда жену подхватило порывом могучего ветра, толстяк закричал. Вопль был столь силен, что на долю секунды даже расправил ей крылья и позволил не сверзиться в бездну, а взмыть. Это видели все, а вот то, что случилось потом, наблюдали немногие. Большинство отвернулось или закрыло глаза, так что в их предусмотрительной памяти сохранилась лишь птица. Просто в какой-то момент птице той сделалось скучно, вот она и сорвалась в полет...

С того дня минуло тридцать лет. Двадцать восемь, если быть совсем точным. И все эти годы он даже суток не пропустил. Так с тех пор и сидит каждый день и не сводит глаз с моря. Только очень уж похудел. Да, вы правы, кожа да кости.

Говорят, как куранты пробьют десять раз, так он и выходит. Садится на свой табурет и глядит в одну точку. Отлучается разве что справить нужду. Может сидеть так до самого вечера, пока не увидит. И собака при нем. Никого к нему не подпускает. Сторожит его горе и не дает посторонним ходить к горю в гости. Нет, детей не кусает. Почти. Был тут один постреленок, все норовил к старику подобраться, но псина ему преподала урок.

Бывает ли так, что сидит он весь день понапрасну? Конечно, бывает! Иногда, говорят, и неделя проходит, и две, прежде чем она ему снова покажется. А кроме него – никому. Откуда тогда узнают, что она ему точно привиделась? По лицу его ясно становится. Взгляд такой, что в нем, как когда-то, небес опять больше, чем моря. Да вы сами заметите, коли задержитесь в Коста-Термина хотя бы на несколько дней. Понятное дело, дыра. Ничего-то здесь нет, кроме отеля в две дюжины комнат и жалкого пляжа. Дернул же черт их тогда тут сломаться! Конечно, судьба... Вам рагу из креветок или гратин из омара? Ага. А к вину еще устрицы. Так и запишем.

За почти тридцать лет место не то чтоб прославилось, но привлекало немало туристов. Отель редко когда пустовал, а в самый сезон бывало и так, что в Коста-Термина яблоку негде упасть: кафешки забиты, базар переполнен, детвора клянчит мелочь и объедается сладостями, рыбаки и торговцы уловом довольны. В такие дни люди с утра ожидали на берегу и строились в очередь, чтобы сплавать на лодках к Горбатой скале, подышать там тревогой и послушать испуганным сердцем восторг. В хорошую погоду можно было вполне разглядеть со скалы старика: голубая рубашка, дубленая кожа и белая шевелюра. Лохматый, как лев, и счастливый-счастливый, если вдруг она ему явится птицей, расправившей крылья. Потом он поднимется, обернется гордой спиной и неспешно направится в дом – говорили, в отеле за ним закрепили какую-то комнату. Разумеется, денег не брали. Как можно!

Хотя кое-кто утверждал, будто бы постоялец оплатил проживание свое вплоть до самой кончины, до которой теперь уже было недалеко, по крайней мере значительно ближе, чем до смерти его улетевшей со скуки супруги.

Какого он возраста, точно никто и не помнил. Говорили, ровесник хозяина, только теперь поменялись местами: один ссохся в щепку, а другой так раздулся, что с трудом ловил воздух губами. Казалось, вот-вот задохнется, а потому его лично почти ни о чем не расспрашивали. Кроме как считать деньги и вытирать пот со лба, ни на какую работу хозяин был не горазд, так что в отеле водились всегда молодые служанки и слуги, прибывавшие на подработку в Испанию из Сальвадора, Перу и Боливии. Нанять кого-то из местных в прежние времена было сложно (не городок, а дыра, из которой была лишь одна дорога – на выход), а нынче – не очень хотелось: хозяин привык экономить. Слухи ходили, что ушлый пузан собирает дань с рыбаков и торговцев, увещевая платить за прибыль, полученный не благодаря их умениям, а чрез беду иноземную, кося по доброте душевной именно он дал приют. Почему иноземную? Да потому что Мадрид для нашей дыры – все равно что космос для лужи.

Как бы то ни было, а тощий старик свое дело делал: выходил поутру на площадку перед отелем, садился на табурет, подставлял свой ботинок под морду косматого пса и смотрел неотрывно на море. Говорили, ни разу ни с кем не обмолвился словом.

Счастливы, кому повезло наблюдать его радость, когда вдовцу вдруг являлась жена (обыкновенно под вечер, в водянистых вуалях заката), с волнением рассказывали, что отчетливо слышали хлопанье крыльев. Им, конечно, не верили. А чтобы проверить, приезжали и сами от нечего делать в Коста-Термина.

– Итак, ваш заказ: салат с гребешками, рагу из креветок, гратин из омара...

– И устрицы.

Хозяин пыхтел за конторкой, считая купюры, а по ночам страдал от бессонницы, так что взял он привычку читать до рассвета романы. Книг скопилось тьма-тьмушая, только ему было мало:

– Не найдется ль у вас мне на вечер какой-нибудь книжки, сеньор? К завтраку я вам верну. «Дон Иван»? Не читал. Про любовь? Что ж, большое спасибо! Между прочим, у нас в Коста-Термина на любви все и держится...

А потом, говорили, случилось такое, чего даже в книжках кропать не дозволено.

Был поздний сентябрь. Погода еще не испортилась, но уже не чуралась пятнать облаками лазурь и пачкать когтистыми тенями скалы. Синевы в море сделалось меньше, чем сини под тучами. По ночам стало звонче дышать, да и сны приходили неторопливые, рослые, трезвые.

Народу в тот вечер собралось на террасе немало: с пляжа туристов согнали прохлады и брызги с дичавшего моря, а на конопатой дороге, сползающей к Коста-Пенултима, затеяли пыльный трескучий ремонт. Может, кто-то и выпил лишку, но никак не мальчишка, внук синегубых очкариков-немцев, игравший на парапете в солдатиков.

– Ich sehe Sie⁵.

Это был даже не вскрик. Скорее всхлип, похожий на сдавленное рыдание. Не заметить его было трудно. Еще трудней оказалось всем им не заметить ее...

Босоного и очень проворно, не тратя на волны шагов, она шла, как плыла, по воде, а плыла, как летела, одетая в белое платье. Шла, как летела, и призывно тянула к берегу руки. Огромная женщина-призрак с гордо пылающим взглядом и триумфальной улыбкой.

Из груди постояльцев раздался ликующий стон. Длилось это какую-то пару секунд, но их им хватило, чтобы запомнить навеки мгновение, когда призрак предстал во плоти перед их затаенным неверием и навсегда развеял сомнения.

Говорят, даже собака залаяла, а вот старик лишь нахмурился и пнул ее больно ногой. Потом поднялся на ноги и, шатаясь, побрел к себе в логово. Стало быть, приревновал. Постояльцам же было на это плевать. Те до утра отмечали событие и расползлись на карачках не раньше, чем разорили спиртные запасы отеля.

Хозяина среди веселящихся не было.

Говорили, со счастья такого он чуть не задохнулся. Говорили, едва пережил приступ астмы и потом всю неделю валялся в постели.

Чего не говорили, так это того, что не знали: единственным зрячим из тех, кто смотрел на видение и ничего не узрел, был как раз он, хозяин гостиницы в Коста-Термина.

Когда призрак растаял и постояльцы закончили обниматься со слугами, когда тощий старик и собака исчезли под аркой, ведущей во внутренний двор, когда сердце в груди рвалось от восторга вперемешку со жгучей обидой, когда оно так и не разорвалось, хозяин смахнул с лица слезы и, прихватив с нижней полки бутылку, спустился по лестнице в тусклый подвал. В носшибанул затхлый запах, но хозяину было не до того. Не до забот о здоровье и жизни. Дело, с которым пришел он сюда, в этот тайный, подспудный, несправедный мир, было куда как важней.

⁵ Я ее вижу (нем.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.